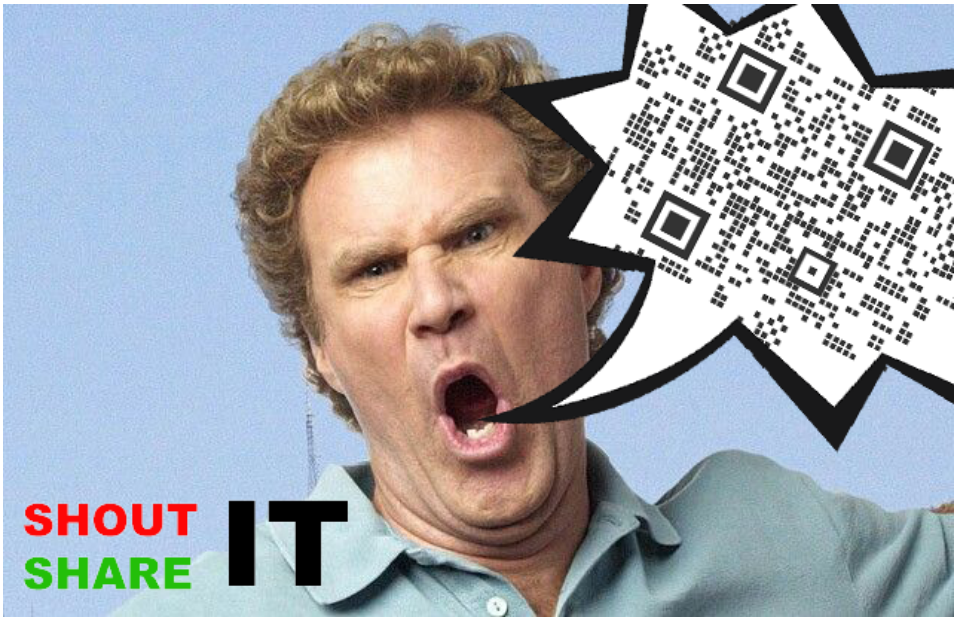
МЕМУАРЫ ВОРА В ЗАКОНЕ

О ЖИЗНИ,
О СЕБЕ,
О ВОЛЕ

КАМЕРА СМЕРТНИКА


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Серийный убийца Георгий Павлов, приговоренный к высшей мере, дал единственное интервью журналисту Б. Рудакову. Никогда прежде преступник не был столь искренним и откровенным. В течение нескольких часов он пересказал журналисту всю историю своей жизни. В какой-то степени его исповедь можно назвать раскаянием. Но свои ошибки убийца признал лишь отчасти. Этот жестокий человек оказался носителем страшной идеи очищения земли от скверны и сам назначил себя «санитаром общества», уполномоченным самостоятельно выносить приговоры людям и приводить их в исполнение…

- Борис Рудаков
  - 21 мая 2010 г.
  - 23 мая 2010 г.
  - 25 мая 2010 г.
  - 27 мая 2010 г.
  - 29 мая 2010 г.
  - 30 мая 2010 г.
  - 2 июня 2010 г.
  - 4 июня 2010 г.
  - 7 июня 2010 г.
  - 12 июня 2010 г.
  - 15 июня 2010 г.
  - 18 июня 2010 г.
  - 20 июня 2010 г.
  - 23 июня 2010 г.
  - 26 июня 2010 г.
  - 30 июня 2010 г.

Борис Рудаков
Камера смертника

…«О ЧЕМ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ» «Живой Журнал» Бориса Рудакова найдено по ссылке…

(Личная Информация)

«О ЧЕМ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ» Журнал Бориса Рудакова

Борис Рудаков онлайн

Создан 2010 – 05–18 19:49:02 (#6834255), обновлялся 2010 —… — …

297 комментариев получено, 81 комментарий отправлен

Улучшенный аккаунт

34 записи в журнале, 0 меток, 0 записей в избранном, файлов в фотоальбоме: 10+, 0 виртуальных подарков, 4 картинки пользователя

21 мая 2010 г.

23:15

…Именно поэтому я и решил, уважаемые оппоненты, изложить всю историю в своем «Живом Журнале». Осмыслить историю жизни этого человека можно. А понять? Понять, почему он стал палачом, почему он решил, что ему дозволено вершить суд. И от чьего имени. От имени общества, которое, по его мнению, страдает от таких людей, какими были его жертвы? От имени государства, которое зачастую оказывается, опять же по его мнению, бессильным против таких личностей. Или от своего собственного имени? Или он посчитал себя вершителем судеб или жертвой, которая обязана защищаться от этих людей. Противопоставил ли он себя обществу, или все еще считает себя его частью?

Ответить на эти вопросы один человек, наверное, не в состоянии. Не в состоянии только потому, что каждый человек – это одно мнение, которое опирается на собственный багаж жизненного опыта, на менталитет той среды, которая его произвела на свет, воспитала и выпустила во взрослую жизнь. И уже там волей или неволей каждый человек начинает влиять на судьбы других людей, совершать (или, наоборот, не совершать) поступки, которые являются значимыми как для отдельных людей, так и для общества в целом.

Каждый человек судит «со своей колокольни», а она у каждого своя. Выше или ниже, мраморный монумент, сработанный на совесть, устойчивый и непоколебимый, или шаткая конструкция, которая готова развалиться под напором даже слабенького социального ветерка, а то и непогоды личного, бытового характера. С высокой колокольни видно дальше, с низкой – не дальше собственного носа. На мощном непоколебимом фундаменте на все взирается с позиции уверенности, а на шатком – с боязнью, раздражением и завистью. И этот «фундамент» и высота «колокольни» зависят не от материальных возможностей их строителя, как все еще думают многие. Это духовный фундамент, это высота морально-этическая.

И каждый человек будет судить убийцу по своим критериям, каждый определит свою точку, когда проклюнулось семя и потянулся вверх росток. Когда из обычной почвы жизни вырос палач? Или необычной… И в почве ли дело, потому что тогда бы большая часть людей, взращенная на той же самой почве, сама вершила бы суд и исполняла собственные приговоры? В какой-то

мере это и происходит с каждым, но не каждый переходит грань…

«Простой инженер». Это жизнь, Борис, и это люди. У каждого бывают надломы, но не каждый ломается. Ваш Палач сломался психически, и нечего тут слюни разводить. Он что, богом себя возомнил? Пусть радуется, что смертную казнь отменили и он может хоть как-то свою жизнюшку никчемную докоротать. Это ему шанс осознать, помучиться и раскаяться. Раньше таких просто пускали в расход, и в обществе было чище.

«Полковник». Не было чище! Ни раньше, ни сейчас, ни потом не будет. Извините, но я всю жизнь проработал в органах МВД, знаком со статистикой преступлений в нашей стране. Вы преступникам хоть руки отрубайте, а они зубами воровать будут.

«Ольга Сергеевна». Господа инженеры и офицеры! Вас приглашают к диалогу о гуманности, а вы злобой исходите. Я понимаю всю глубину горя родных и близких, погибших от руки этого палача. Я даже не берусь судить, насколько глубока была вина жертв перед обществом и конкретно перед этим человеком. Но ведь это же человек, его же рожала мать, он любил и мечтал, как и все мы. Так будем ли мы уподобляться палачу и споро выносить свой вердикт – убить его? Я понимаю, что мораторий на смертную казнь в нашей стране введен вроде бы в угоду условиям, поставленным при вхождении России полноправным членом в европейское сообщество. Но ведь все это произошло не случайно и не сразу. И желание войти в Евросоюз, и желание пересмотреть свою позицию относительно применения смертной казни – тоже. Общество в целом созрело и для того, и для другого. Мы уже поняли, что жить с миром нужно в мире и по его законам. И мы поняли, что гуманизм – это признак зрелого возраста. Мы повзрослели, господа!

Утро у разных людей начинается по-разному. Но вот парадокс! Несмотря на то что в нашей редакции работают очень разные люди, утро у всех начинается, как правило, одинаково. С кофейного автомата, установленного в холле.

– Боря зазнался! – послышался за спиной девичий голос, которому эхом стали вторить веселые смешки. – Боря у нас знаменитость!

Опять заноза Маринка собрала вокруг себя молодняк и достает всех, до кого дотянется. При общении с Маринкой – главным нашим специалистом по скандальной хронике светской жизни – лучше сразу принимать правила игры. Только так можно сохранить лицо. Наверняка сидит сейчас со стажерками и корректорами, прихлебывает свой любимый кофе без сахара и перемывает кости штатным и внештатным сотрудникам.

Сделав величественное лицо а-ля римский патриций, я с

наигранным достоинством обернулся. Как и следовало ожидать, в эркере на мягком диване под разлапистыми листьями искусственной пальмы восседала Марина с двумя девицами-стажерами, одной внештатной «писалкой» на экономические темы и очкастой немолодой корректоршей, которая не состоялась как журналист еще лет десять назад.

– О-о! Самая юная и красивейшая часть нашего коллектива пребывает в утренней неге?

Девочки дружно хихикнули, а корректорша уткнулась носом в свою чашку. Я изобразил легкий изысканный поклон.

– Как утренний кофе, нимфы?

– Рудаков, – с загадочным видом сказала Марина, – ты, конечно, теперь человек великий…

– Величие духа, Мариночка, – перебил я девушку, – достигается путем угнетения плоти. Мой последний опус, если ты намекаешь на него, прошел в номер под фанфары только потому, что плоть свою, – тут я нежно погладил свое крутое плечо и напряженный бицепс, – я угнетал в течение двух недель. Неустанно! Можно сказать, и ночь не ел, и день не спал.

Весь разговор сейчас крутился вокруг моей последней заказной статьи, в которой я комментировал заседание внеочередного съезда союза «Чернобыль» России. Сами по себе вопросы, которые поднимались на этом съезде, были по большому счету дежурными. Это и подготовка к проведению мероприятий в связи с 25-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, и проблемы медицинского и жилищного обеспечения граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, и заявление союза в связи с аварией на японской атомной электростанции «Фукусима-1». Подводились там и итоги конкурса союза «Чернобыль» России в области литературы и искусства «Патриотизм и верность долгу», были вручены дипломы его лауреатам и участникам. Но на меня накатило вдохновение, и я обрушился с таким анализом проблемы ветеранов, что статья получила очень горячий отклик даже в чиновничьих кабинетах.

– Великих, – развела Марина руками, пронеся чашку с кофе в опасной близости от головы корректорши, – начальство возит фейсом об тейбл с таким же успехом, что и простых смертных. Между прочим, Ревенко уже два раза о тебе спрашивал.

Етит твою мать, как же я забыл! Обещал зайти к Андрею ровно в девять, потому что он куда-то спешил и хотел переговорить со мной с утра… Сунув папку под мышку, я рванул в сторону кабинета главного редактора. Вслед мне стервозно хихикнули. В Москве особенно ломать голову, когда

оправдываешься перед начальством, не нужно. Притча во языцех – пробки на дорогах! Правда, Андрей знает, что я езжу на метро, но можно соврать, что мы ночевали с Иркой у тещи. Врать не хотелось; но сознаваться, что я, раздолбай такой, в эйфории авторского успеха напрочь забыл начальническое распоряжение, мне не хотелось еще больше. Даже если начальник твой друг и однокурсник.

Приемная главного редактора Андрея Владимировича Ревенко была самым неприятным для меня местом во всей редакции. Наверное, у меня больное самолюбие, но манеры хамоватой и самоуверенной Юли – секретарши Андрея – я переносил с трудом. Даже если ты спишь со своим начальником, это не повод для того, чтобы ставить себя выше других сотрудников.

Вот и сейчас Юлька, нисколько не смущаясь и привычно поправляя бретельки своего лифчика, выразительно посмотрела на настенные часы и постучала кулаком по столу. Это означало, что она возмущена моим опозданием. Я же привычно мысленно послал ее на три буквы и открыл дверь кабинета.

– …ладно, давай я подъеду часикам к двум, – закручиваясь то вправо, то влево на своем кресле, говорил Андрей кому-то в телефонную трубку. – Я тоже тут, понимаешь, зашился с утра в делах… Ну, добро! До встречи.

А вот кабинет Андрея мне нравился чисто эстетически. Вся отделка в светлых тонах с преобладанием белого цвета. И мебель подобрана была в том же стиле. Никакой громоздкости, все легкое, все на высоких ножках, что визуально открывало пол. И рабочий стол у Андрея был современный, эксклюзивный, со стеклянной столешницей. При своих не очень больших размерах кабинет казался чуть ли не огромным, наполненным воздухом. Здесь даже дышалось легче.

И сам Андрей был под стать кабинету. Широкий, заметно раздобревший за последние годы, всегда в белой рубашке с галстуком в стиле столичного чиновника. Это тоже было продуманным штрихом, потому что ему приходилось именно с чиновниками общаться очень часто. И с бизнесменами высокого пошиба – тоже. В такой «униформе» он чисто психологически сходил за «своего», несмотря на то что работал в частном издании.

Андрей отбросил телефон и деловито что-то стал помечать у себя в ежедневнике. С ходу оправдываться я не стал и с рукопожатиями тоже не полез. Какие бы старые приятели мы ни были, а отматерить он меня сейчас имел полное право. Я опоздал на целых пятнадцать минут!

– Здорово, – наконец отложил авторучку Андрей и протянул свою пятерню, как он это обычно делал – с широко растопыренными пальцами. – Проспал, что ли?

– Транспорт, – поморщился я, готовый в случае паузы развить эту мысль.

– Да-а, – разглядывая в некоторой задумчивости какую-то запись в ежедневнике, протянул Андрей, – это вам не Нижний Тагил, это вам Москва-матушка. Пробки – это наше второе «я». – Андрей наконец отложил ежедневник и откинулся на спинку кресла. – Слушай, мне тут в голову пришла одна мыслишка. Думаю, что самый подходящий вариант для этой темы. Мышление у тебя образное, перо бойкое. Из ничего трагедию можешь расписать.

– Политический заказ? – попытался я пошутить.

– Почему? – не понял шутки Андрей. – Нет, статья исключительно направленная на интерес к нам читателя, повышение рейтинга и тиража. Я тут кое-какую программку продумал и тематику. Твоя статья пройдет первой. Только учти: никакой философии, никакого бичевания политики правительства или самобичевания интеллигентской совести. Боря, чисто информационная статья, чисто рассказ о том, как и где это у нас выглядит. Будет реакция читателей, мы тему разовьем, и тогда тебе же карты в руки.

– Тема-то какая? – напомнил я.

– Тема – супер! – расплылся Андрей в улыбке во все свое лунообразное лицо.

Я на миг почему-то представил, что он, наверное, так же довольно улыбается, после того как в углу на диване свою секретаршу отдерет. Или на этом вот столе. Юлька – девка сочная, девятнадцатилетняя. Одна грудь четвертого размера чего стоит.

– Нужно рассказать, – продолжал Андрей, – о том, как и где у нас содержатся преступники, приговоренные к пожизненному заключению.

– Эх, вот ты загнул, – опешил я от неожиданности.

– Нормально! – заверил Андрей с довольным видом. – Сам небось слышишь, сколько и какие у нас испокон веков слухи ходят? Кто говорит, что их в урановых рудниках используют, кто про медицинские опыты в подвалах ФСБ рассказывает… Вот и надо раскрыть глаза людям. Интерес к этому вопросу очень большой. А если тебя беспокоит техническая сторона, то есть у меня человечек в этом департаменте. Обещал посодействовать, чтобы тебя на месте приняли и проводили.

– Слушай! – загорелся я сразу целым сонмом идей. – А тема-

то правда перспективная! Тут можно такую волну поднять.

– Боря, не надо поднимать волн.

– Так слушай! Вопрос-то муссируется уже не один год, чуть ли не с 96-го года. Это же большая проблема.

– Боря-я!

– Нет, ты послушай! Проблема-то не только юридическая и политическая, это еще этическая проблема, нравственная.

– Как ты меня уже достал со своими философскими потугами! – рассмеялся Андрей. – Борь, если будет резонанс, тогда мы возьмем интервью у генерала, который командует этими колониями, возьмем интервью у известного правозащитника, у какого-нибудь политика. Вот тогда они и выскажутся с разных сторон. Не надо нам лезть со своим мнением, не наше это. Понимаешь? Попридержи ты свой философски настроенный ум, а напиши просто репортаж – о том, как там живут… точнее, сидят. И все, Боря! Ты журналист, ты должен уметь, когда надо, писать то, что тебе заказывают, что в этот момент нужно, а не что тебе хочется. Этого у нас достаточно в среде безработных и непризнанных мыслителей. А ты профессионал! Так что кончай херней заниматься и принимайся за дело. Мне рейтинг повышать нужно, а ты со своей философией лезешь…

Я хотел было возразить, что повышение рейтинга как раз и зависит от привлекательности издания, от того, насколько оно умное, но что-то в лице Андрея заставило меня воздержаться. К тому же он снова уткнулся в свой ежедневник.

– Так, у нас сегодня пятница. Едешь в понедельник. За выходные поройся в Интернете, познакомься с тем, что там есть по этому вопросу. Так сказать, погрузись в тему. Пять дней тебе вместе с дорогой на сбор материала, три дня на текст… – Андрей взял ручку и что-то написал в ежедневнике, – и… кладешь мне на стол готовый вариант через… восемь дней. Помечаю себе…

С Андреем Ревенко мы вместе учились в МГУ, в одной группе. Отношения с ним сложились приятельские с первого курса. Собственно, у Андрея почти со всеми в группе были приятельские отношения. Он никогда не кичился тем, что окончил профильный гуманитарный лицей, что у него мама работала в Министерстве культуры. Он никогда не тяготел только к тем однокурсникам, у которых родители были с положением. Мне поначалу даже казалось, что он относится с большим уважением именно к тем, кто поступил, как я, после армии. Считал их старше, опытнее, познавшими в жизни чуть больше, чем он. И только позднее, по прошествии лет, я понял, что это было в его характере – никогда не гнушаться никакими знакомствами, никакими приятельскими отношениями, потому что нельзя зарекаться, что в дальнейшем

этот человек тебе не понадобится.

Андрей всегда был прагматиком, но никогда этого не афишировал. Он даже старательно подчеркивал, что ничто человеческое ему не чуждо, как и всем его однокурсникам. И веселился он с нами, и за девчонками ухлестывал, и на вечеринках дрался… Стоп! Вот тут я немного покривил душой. Если честно, то именно он-то и не дрался. Он оказывался в гуще событий, но дрались другие. Я, например. А вот Андрей каким-то образом всегда оказывался урегулирующей стороной, после того как мы накидаем друг другу пачек. И это нельзя было назвать хитростью и способностью спрятаться за чужую спину в опасной ситуации. Нет, это было способностью решить проблему головой, а не кулаками. Эмоции никогда у Андрея не брали верх над разумом.

Поначалу я удивлялся, даже самому Андрею задавал эти вопросы. Почему он, при его способностях, а сдал вступительные экзамены он просто блестяще, при связях его мамы не поступил в МГИМО, а ограничился факультетом журналистики в МГУ. Ведь после МГИМО ему была бы прямая дорога, скажем, в журналисты-международники. Работа за границей, мелькание на экранах телевизоров, признание руководства, авторские программы и… все в том же духе.

Частично по его не слишком откровенным ответам тогда, а частично уже теперь я понял, что творческая сторона профессии Андрея не привлекала. Возможно, он не чувствовал в себе нужного таланта; возможно, рассчитывал, что положение в обществе и желаемые доходы ему принесет не пишущая рука. И вот через восемь лет после окончания вуза он успешный главный редактор приличного издания, а я рядовой журналист, который может создать шедевр, но приходится писать то, что велят, что заказывают. Да еще и с репутацией философа, который философствует не всегда в нужном месте и в нужное время. И толькотеперь, про прошествии пяти лет учебы и восьми лет работы, я понял, что карьера Андрея Ревенко имела абсолютно иной, нежели у меня, вектор, заранее запрограммированный и тщательно выверенный. После поста главного редактора он продвинется куда-нибудь в главк Министерства культуры. Но там он не полезет вверх по служебной лестнице. Не нужна ему собачья работа и постоянные тычки и упреки сверху. Нет, он примкнет – а может, уже и примкнул – к определенной политической группировке или партии. Потом депутатство – сначала в городской или областной Думе, потом в Государственной. А потом он станет главой какого-нибудь комитета, будет переизбираться, организует какие-нибудь фонды,

станет президентом чего-нибудь… И так до пенсии будет держаться на плаву и в центре событий, среди нужных людей и при доходах.

Вот так все и произойдет. Он будет рулить наверху, а я буду писать внизу. И мне будут заворачивать материалы для доработки, потому что меня опять понесло в философию. Он будет стремиться к прочным позициям там, наверху, а я – к творческому прорыву и признанию здесь, внизу. Хотелось бы мне того же, к чему стремится Андрей? Если не кривить душой, то конечно же! Но я-то себя знаю. Я знаю, что никогда не смогу перешагивать через людей и через себя самого. Я знаю, что моего характера хватит на творческое упорство; я знаю, что для меня эмоциональное важнее, что я долго его жизни не выдержу, пусть она и сытная и престижная. И Андрей будет все шире и вальяжнее. А я? Если не пробудится с годами черная животная зависть, то я буду счастливее. Потому что я занимаюсь тем, что хорошо умею, что люблю. Потому что признание я могу получить от тех, кого уважаю, кого считаю своими, своим кругом творческих людей. Ну и тех, для кого пишу, конечно.

Я вышел из метро и первым делом свернул к киоску за сигаретами. Сколько их уже выкурено после разговора с Андреем? Всегда, когда начинаю напряженно думать или когда в голову приходит интересная идея, рука сама тянется к сигарете. В этом году я понял, что стал многовато курить, и постепенно перешел на легкие, а потом и на суперлегкие сигареты.

О задании я думал весь день, но текущие дела все время отвлекали. В метро же, когда тупо смотришь в мелькающие стены тоннеля, думается лучше. Правда, я свою станцию чуть не проскочил, и пришлось мне проталкиваться к дверям вагона под тычки в спину и ворчание, когда внутрь повалила новая волна пассажиров с перрона. Итак, что хочет Андрей от меня получить? Очерк о том, как у нас содержатся приговоренные к пожизненному заключению и что это за особые колонии. Иными словами, чисто информирующий репортаж. Хорошо, вот колония, вот высоченные стены с колючей проволокой, вот камеры, вот описание режима содержания, бытующих порядков. Собрать сведения, интересно рассказать любопытствующим читателям. И без философии, без бичевания, без вскрытия социальных и иных язв.

Но вот тут возникает масса «но», которые я уже предвижу. Я же не стены буду описывать, хотя и их, и камеры, и коридоры тоже. Ведь колония – это люди. Люди, которые там сидят, и люди, которые охраняют сидящих там. Без типажей, без интервью не обойтись, иначе картинка будет неполной. Это азы моей

профессии. Но вот здесь и начинаются сложности чисто для меня…

Там сидят люди, которые совершили страшные преступления. Настолько страшные, что государство раньше их за это убивало. Государство считало, что таким людям не место на земле, не место в обществе. Так, опять меня понесло вглубь… Хотя понятно, что сидят там люди страшненькие. Потому и полемика в обществе который уже год не утихает. Но, с другой стороны, в обществе всегда найдутся люди, которые будут полемизировать по любому поводу. Так сказать, форма социального контроля общественной нравственности. И пока на земле существуют государства как форма правления, призванная защищать саму себя, будут существовать и недовольные и несогласные.

Реакция на преступления у государства всегда была однозначной, можно сказать – традиционной. Провинился – наказать, сильно провинился – сильно наказать, перешел все рамки – государство тоже переходит черту. Черту? А кто ее устанавливал, эту черту, где сказано, что вот она грань и переходить ее нельзя? Что касается преступлений, то эту грань очерчивает закон. А как насчет уровня наказания и его соответствия уровню преступления?

Что-то мы как-то стали забывать, что в древности запросто сажали на кол, рубили головы – и никого это не смущало, не раздражало, ни у кого не вызывало протеста. Разве что у приговоренных. Понятное дело – мрачные времена язычества, ложные боги требовали жертв и сами по себе были жестоки. Это когда распространилось по земле христианство, тогда появился тезис «не убий». Правда, и тезисы «не укради», и иные с ним появились тогда же. Кстати, христианская церковь тоже не гнушалась смертоубийством, оправдываясь благими намерениями – «охота на ведьм», «кара за инакомыслие». Это ведь все оттуда, из той же оперы, что и крестовые походы. И времена мрачного Средневековья были ничуть не светлее мрачного язычества, когда плясали на телах поверженных врагов и пили из их черепов.

Ладно, это не все христианство, только перегибы католической церкви в определенный период ее развития. Кстати, в те времена, о которых я сейчас вспомнил, церковная власть была ничуть не слабее власти светской. Получается, что опять же власть, неважно какая, пыталась обезопасить себя от тех, кто ей противился. И отсюда вывод: любая власть имеет право защищать себя самыми кардинальными мерами. Но самые передовые государства мира начинают отказываться от смертной казни как вида наказания. Это ведь и не наказание вовсе, а устранение раз и навсегда человека, который совершает то, что запрещено

законом.

Вот вам, ребята, и парадокс! Для всех, кого суд приговорил к срокам лишения свободы, – это наказание, а для тех, кто совершил тягчайшее, – смерть как устранение раз и навсегда. Ведь для тех, кто опасен для государства, мера одна – изоляция от общества. Значит, закономерно, что особо опасных преступников изолируют навсегда. А зачем же еще и убивать? Государство что, красная девица, оно обиделось? Оно что, мстит преступнику, который презрел его законы и совершил страшное преступление? Не перебор ли? Перебор! По всей логике, крайней мерой должна быть вечная изоляция, но с надеждой на прощение. Правда, если не смотреть в глаза родным и близким жертв серийного убийцы, педофила, террориста…

И еще момент. Никогда и ни в какой стране угроза физической расправы как мера предостережения для остальных не была эффективной. Если бы это было так, то преступность постепенно сошла бы на нет. Помнится, на Востоке до сих пор руки ворам рубят, а воров меньше не становится. Вот и получается, что ни жестокость, ни гуманность в наказании никакой роли не играют. Хороший вывод, правда? Позитивный, обнадеживающий! А они сидят там пожизненно и амнистии ждут. Хотя на них, кажется, амнистия не распространяется. Но все равно, они же живые там, а как говорили древние: «Dum spiro – spero» – «Пока живу – надеюсь».

Да, если не задумываться обо всем этом, то задача передо мной стоит очень простая, Андрей. А ведь там мне придется столкнуться с теми, кто каждый день смотрит на этих упырей, охраняет их, кормит… Наверное, и врачи есть, которые следят за их здоровьем. Как же мне тебя убедить-то, друг ты мой ситный?

Хотя на Андрея мне обижаться грех. Это ведь он в прошлом году, когда я находился в творческой прострации и мне нечем было кормить семью, случайно встретив меня на улице, взял к себе в редакцию. Я ведь его сгоряча сегодня чуть лавочником от журналистики не назвал. А ведь без него и таких, как он, нельзя. Если мы все будем писать только то, что нам нравится, то кто эту галиматью станет продавать? Нам легко, мы самовыражаемся, а ему издание на плаву держать. И нос по ветру…

За всеми этими размышлениями я не заметил, как подошел к своему дому. И вспомнил, что не позвонил Ирке. У нас давно было заведено, что я звоню, когда собираюсь домой, чтобы она успела приготовить чего-нибудь поесть.

Ирка сидела на лавке со своими неизменными журналами, а Натка копошилась на детской площадке с тремя карапузами из соседнего подъезда, играя в свои девчачьи игры.

– Папа, пливет! – вскочила Натка и замахала мне рукой.

Впрочем, она тут же снова уселась на корточки и снова увлеченно занялась своими делами с подружками.

Ирка подняла ко мне лицо, которое еще хранило печать сосредоточенной задумчивости, потом одна бровь у нее смешно встала дыбом.

– Чего не позвонил? Я думала, что ты снова допоздна задержишься.

Я молча чмокнул Ирку в щеку и уселся рядом с ней на низкую лавку. Она тут же снова погрузилась в недра своего журнала. Ирка у меня дизайнер. Удобная профессия, когда можно с легкостью перенести офис домой. В конторе, в которой она работала, к рождению ребенка отнеслись с пониманием, да и хорошего специалиста им терять не хотелось. Вот моя Ирка уже шестой год и изобретает свои дизайнерские шедевры на компьютере, который ей привезли с работы. А когда нужно появиться у начальства или встретиться с заказчиком, тогда я свои планы подстраиваю под нее, чтобы было с кем остаться дома с Наткой. Благо моя работа тоже не требует сидения в офисе с девяти до шести.

– Пошли, я тебе чего-нибудь сварганю на скорую руку, – предложила Ирка, не отрываясь от журнала и модных тенденций в современных интерьерах городских квартир.

– Пойдем, – согласился я, тоже не делая попыток подняться.

Хорошо было посидеть в холодке и покое. Да посмотреть, как несмышленая детвора, далекая от проблем взрослого мира, копошится в песочнице и крутится на карусели. Натка, очень самостоятельная и рассудительная девочка, абсолютно не выговаривая букву «р», старательно убеждала в чем-то двух других девчушек. Те слушали открыв рты. Белые трусики под коротким платьишком у нее были в песке, коленка в зеленке. Милое родное перепачканное существо!

И тут я вдруг подумал, а что, если мою Натку схватит какой-нибудь педофил, а если… меня аж передернуло от этой мысли, и внутри все мгновенно похолодело. Ведь убью же! В землю вобью по маковку, поотрываю все на свете! Это если его искать будут да поймают, – следствие будет, суд… А если я сразу поймаю, то точно убью! Мысль была простая и ясная как божий день. Вот так, Борис Михайлович! Вот и кончился твой абстрактный гуманизм. Ты только что теоретизировал, базу подводил, а как коснулись мысли своего собственного, так и обнажилась твоя сущность. И чем она не животная, а? Вот так бывает всегда, когда в полете фантазии отрываешься от действительности, от реалий этого мира, который, увы, еще так далек от совершенства. И мир, и мы

сами, живущие в нем. То ли мир несовершенен, потому что мы такие, то ли мир таков, что мы не совершенны.

– Есть хочу, – подвел я итог своим размышлениям.

– А чего сидим? – резонно поинтересовалась Ирка и решительно закрыла журнал. – Натуль! Пошли папу кормить!

Натка обернулась, прервавшись на полуслове. Посмотрела на нас, потом на своих подружек и снова на нас. По ее рожице было видно, что она решает – покапризничать или послушно пойти домой. Здравый смысл подсказал ей, что капризы – только неприятная отсрочка, а родители все равно заставят идти. Молча отряхнув ладошки, Натка вылезла из песочницы и затрусила к нам. Рассудительная девочка!

Подхватив дочь на руки, я зарычал и объявил, что так голоден, что съем ребенка. Натка закатилась звонким смехом и стала выкручиваться, когда я попытался укусить ее за животик.

– Лыба – не еда, лыба – длуг! – заверещала дочь на весь двор. Эта фраза из американского мультфильма про маленькую рыбку Немо ей очень нравилась.

Возле бюро пропусков я был уже в половине девятого утра. Придется опять бродить и курить, но к генералу с опозданием не являются. Поэтому я и вышел из дома с приличным запасом времени. С сомнением посмотрев на табличку, где были указаны дни и часы приема, я решил, что не зря меня пригласили именно в субботу и именно к девяти утра. Может, у них тут какой-нибудь дежурный есть, который меня пригласит, потому что генерал Коновалов предупредил его о моем приходе…

Я пару раз прогулялся ленивым шагом вдоль фасада здания, несколько раз прочитал все таблички, успел подумать о том, что название ведомства, на мой взгляд, очень неточно выражает род деятельности. «Федеральная служба исполнения наказаний». Потом я решил, что просто придираюсь и неточность касается последнего слова. Чьих наказаний, от чьего имени? Потом я выкурил вторую сигарету и пришел к выводу, что если стремиться к тому, чтобы название точно выражало суть деятельности ведомства, тогда название будет очень длинным. И придется прибегать к имени собственному. Например, Федеральная служба исполнения наказания, вынесенного по приговору суда гражданам… и т. п. «Заря».

Получалось смешно. Хотя с юмором, правда специфическим, в этой конторе было все в порядке. Мне как-то рассказывали, что на визитке у одного начальника исправительной колонии значился девиз на рыцарском щите (или слоган на рекламном проспекте): «Кто не с нами, тот у нас!». По крайней мере, жизненная позиция ясна.

В девять ноль-ноль я заволновался, потому что никаких позывов к тому, что дверь бюро пропусков вот-вот откроется, не было. В пять минут десятого я не находил себе места, а еще через пять минут был в панике. Меня готов был принять генерал, мне было велено подойти к девяти часам к бюро пропусков! И что обо мне подумают? Или кто-то в чем-то ошибся? Что-то было не так, и я, решив прибегнуть к активным действиям, ринулся к главному подъезду.

Обширный холл встретил меня могильной тишиной, и только за турникетом скучали двое в форме: старший лейтенант и прапорщик.

– Ребята, доброе утро! – по-свойски подкатился я к дежурным. – Меня ждет генерал Коновалов, но, видимо, тот, кто договаривался о встрече, что-то напутал. Мне сказали, чтобы я подошел к бюро пропусков, но оно сегодня, наверное, не работает…

Моя природная страсть во всем досконально разбираться, все дотошно выяснять и все обстоятельно рассказывать не были оценены по достоинству. Меня молча перебили многозначительным указующим жестом. Я оглянулся и увидел у дальней стены два телефона на полочках, а над телефонами – список кабинетов и фамилии. Да, ребята тут неразговорчивые.

Побегав глазами по рядам с надписями, я нашел номер кабинета, нужную фамилию и должность заместителя начальника одного из управлений. Набрав номер, я долго слушал длинные гудки. Потом положил трубку и, выждав некоторое время, снова набрал номер. Никто мне не отвечал. Пришлось опять идти к турникету и объяснять ситуацию. Прапорщик пожал плечами и посоветовал набрать номер приемной. На мой взгляд, звонок в приемную первого лица ведомства – поступок дикий, но что я знаю о специфике этой организации? И я набрал номер.

Ответил мужчина тоном скучающего человека, и я, уже стараясь быть более лаконичным, объяснил, что мне назначена встреча с генералом Коноваловым. Мне ответили, что Коновалов на совещании, и предложили перезвонить ему в кабинет после десяти…

Прапорщик записал данные моего паспорта в большой журнал, вернул документ и показал в сторону лифтов. То, что генерал никак не отреагировал на мою попытку объяснить, почему я не оказался в его кабинете ровно в девять часов, мне было непонятно. Он просто велел передать, чтобы на турникете взяли трубку, и приказал меня пропустить.

Когда я вошел в большой кабинет с добротной отделкой, то машинально глянул на настенные часы. Было без двадцати

одиннадцать. Маленький, упитанный мужчина в генеральской форме расхаживал из угла в угол с чашкой чая в руках и разговаривал по мобильнику. Я заговорил, как только маленький генерал сложил свой телефон и посмотрел в мою сторону.

– Еще раз приношу свои извинения, – начал я от самой двери с сожалением в голосе, – но мне сказали подойти к бюро пропусков к девяти часам…

– Сегодня суббота, – посмотрел на меня генерал как на идиота, – бюро пропусков не работает. Проходите.

Голос у генерала был приятного тембра, только он зачем-то старательно пытался говорить ниже своего природного регистра. Для важности, что ли?

– Так что вы хотели? – спросил генерал, усаживаясь в кресло за рабочим столом и не предлагая мне чая.

Я это отметил и чуть не ответил хохмой, что, мол, почему хотели, я и сейчас хочу. Но в чужой монастырь со своим представлением о юморе не ходят.

– Главный редактор нашего издания Андрей Владимирович Ревенко велел зайти к вам за разрешением на посещение нескольких колоний, где отбывают наказание осужденные пожизненно. Он с вами договаривался.

– Вот вы даете! – то ли восхитился, то ли возмутился генерал. – Писать больше не о чем? Там же особый режим.

Я понял, что чиновнику, даже если он и носит военную форму, нужно обязательно показать свою значимость, показать, что вы от него зависите, показать, что он вам делает такое одолжение, что вы теперь век его должники. А то и дольше. Ведь с ним же договаривались, значит, был согласен на поездку журналиста по этим колониям. К чему эти предисловия?

– Ты в армии служил? – перешел вдруг генерал на «ты».

– Служил.

– В каких войсках? Не во внутренних?

– Нет, – усмехнулся я тому, что генерал, на мой взгляд, слишком однобоко ищет родственные понятия. – Я на флоте служил.

– Так вот, морячок, у меня там режим похлеще, чем у вас на ваших военно-морских базах. Понимать надо, кто там сидит!

– Мы понимаем, – заверил я. – Именно поэтому и хотим сделать статью о том, что это за преступники, что это за новая мера наказания и как они в специальных колониях содержатся.

– Вот именно, как содержатся, – набычился генерал. – Это особый режим, и тебе, морячок, ни шага там не ступить без ведома начальника колонии. Никаких фотографий, никаких описаний специальных мер и специального оборудования. Понял?

– Как скажете, – смиренно согласился я, опасаясь, что Коновалов сейчас потребует, чтобы я ему после своей поездки еще и текст на редактирование предоставил. – Фотографировать будутолько то,что разрешат на месте, и писать буду только о том, о чем разрешат.

– Уроды они, инопланетяне! Вот о них и пиши, какая это мразь и как их там содержат под неусыпным надзором. Чтобы чихнуть без ведома контролеров не могли. Это не курорт. Ты знаешь, морячок, какуюпсихику железную надо иметь, чтобы там работать? Каждый день смотреть на этих вурдалаков, бояться к ним спиной повернуться… Они и так осуждены по самой высшей мере, выше-то уже некуда. И если заключенный убьет охранника, то ему за это фактически ничего не будет, потому что страшнее казни уже нет. Только учти, что и у этих упырей права есть, черт бы их побрал. Ты их лица фотографировать без их согласия права не имеешь… Зря вы все это затеяли, вот что я тебе скажу.

– Работа у нас такая, Алексей Иванович. Писать нужно обо всем, на то мы и журналисты. Бывали в нашей профессии трудности и пострашнее.

– Пострашнее? – ухмыльнулся генерал. – Ну, вот и съезди, убедись. Внимательно выслушай советы, которые тебе там дадут. И будь послушным, как паинька, если хочешь живым и здоровым вернуться. Поедешь вот в эту колонию, – Коновалов взял листок бумаги, стал быстро что-то писать. – Вот тебе контакты начальника. Приедешь – позвони. Тебя встретят и отвезут. Учти, там тебе не гостиница, гостиницу в городе снимешь.

Я взглянул на протянутый мне листок и удивленно посмотрел на генерала.

– Я так понял, что мне можно только сюда? А в другие колонии? Я слышал, что самый строгий режим… – и я назвал два города.

– Делать там тебе не хера! – низким голосом отрезал Коновалов. – Хватит и этого, а про другие тебе и так расскажут. Только ты смотри, как говорят уголовники, фильтруй базар. Не все писать надо и не обо всем. Я ведь в этой системе больше двадцати лет работаю, и нагляделся всякого. Нелюди они, и по-людски с ними нельзя.

– Я так понимаю, что вы лично сторонник смертной казни? – не удержался во мне любопытный журналистский червячок.

– Я тебе так скажу, морячок, – толстый палец с ухоженным ногтем нацелился мне прямо в глаз, – «гуманизм» и «онанизм» – одинаково гаденькие слова.

Мне сразу вспомнился афоризм другого великого мыслителя: «Когда я слышу слово «культура», то моя рука сама тянется к

пистолету».

– Наказание должно быть адекватно преступлению, – продолжал философствовать генерал, видимо соскучившийся по свежему слушателю. – Есть вещи, которых прощать нельзя; есть вещи, на которые посягать не дано никому. Не ты родил человека, не тебе его жизнь и забирать. Только закон имеет право карать, потому что закон – высшая сила в любом обществе. А ты-то сам, морячок, из гуманистов, что ли? Сейчас это модно. Христианские мотивы и все такое прочее…

– Нет, Алексей Иванович, я не гонюсь за модой, – искренне ответил я. – Я сторонник того, что и в самом деле есть случаи, когда нельзя огульно судить. Либо смертная казнь для всей этой категории преступников, либо ни для кого. Были у нас и чикатилы, есть у нас и террористы, взрывающие дома с невинными людьми. Тут, я считаю, никаких шансов для раскаяния давать не стоит. Таких только истреблять.

С листком бумаги в кармане я наконец вышел от генерала Коновалова. И всю дорогу до дома меня терзала мысль: чему стоило верить из слов моего собеседника, а чему – нет? На самом деле все так страшно или генерал меня специально пугал? Так сказать, чтобы подчеркнуть свою важность, сложность работы в своем ведомстве…

Эта беседа заставляла меня буквально гореть от нетерпения. Если вчера вечером я просто занялся тем, что приводил в порядок свои дела перед недельной отлучкой, то теперь я буквально рвался к компьютеру. Очень мне не терпелось залезть в Интернет и посмотреть, что я там могу найти по интересующему меня вопросу. Особо я этим вопросом не интересовался, хотя и отмечал появление некоторой информации. Периодически всплывали дискуссии на тему гуманности замены смертной казни на пожизненное заключение, и с основными позициями я был знаком. Помнил я и указы Ельцина – кажется, 96-го года. Но теперь-то прошло уже больше десяти лет, и система все это время работала. Интересно, как?

Первое, что я стал искать в Интернете, – это истоки вопроса. Действительно, как я и помнил, 16 мая 1996 года президент Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Все правильно. Если хотим жить одной семьей, то наши законы должны дудеть в одну дуду.

Потом я нашел еще одну информацию. Оказывается, согласно постановлению Конституционного суда от 2 февраля 1999 года на территории России был введен мораторий на смертную казнь, и действие его распространяется до введения на всей территории

России судов присяжных. Это уже было интересно. Значит, это просто приостановление применения смертной казни, а никак не отказ от нее навсегда и бесповоротно из гуманных соображений. Значит, решено не доверять судьям единолично решать судьбу подсудимых в таких сложных и важных делах, какими являются дела «расстрельные». Значит, представители народа в лице присяжных заседателей будут выносить вердикт – виновен обвиняемый или нет. А уж потом закон применит пистолет, или из чего там расстреливают.

– Ира, – позвал я, не оборачиваясь, жену, – ты знаешь, сколько у нас человек расстреливают в стране?

– А у нас расстреливают?

– Пока нет, но расстреливали. Я имею в виду Россию после развала Союза. За это время, оказывается, смертные приговоры выносились 1011 раз.

– Всего? – Ирка оторвалась от ноутбука, где вырисовывала очередной неописуемый шедевр, и с интересом взглянула на меня. – Меньше десяти человек в год по всей стране? Я думала, что больше.

– Большого оптимизма ты у меня человек! Человеколюбивый… Смотри: по официальным данным, в 1992 году в России к смертной казни были приговорены 159 человек. В 1993 году – 157 человек, в 1994-м – 160 человек, в 1995-м – 141, в 1996-м – 153, в 1997-м – 106, в 1998-м – 116, в 1999 году – 19. Только приговорены. А согласно официальной статистике, всего в период с 1992 по 1995 год были собственно казнены только 78 человек.

– Не так уж и много для такой большой страны, – согласилась Ирка. – Интересно, а в США как эти цифры выглядят?

– Не знаю, – пожал я плечами. – А! Вот, смотри, есть еще интересная информация. По сведениям бывшего председателя комиссии по вопросам помилования при президенте, только в 1995–1996 годах были казнены 149 человек. Ни фига себе разница в цифрах!

– Борь, а это не опасно? Эта твоя поездка?

– Ну я же не буду входить в камеры и оставаться наедине с преступниками. Да и никто мне этого не позволит. Моя задача – описать тех, кто и как там сидит. Вот и все.

Ирка что-то буркнула и снова уткнулась в ноутбук рисовать интерьеры. Я продолжал рыться в информации, но мне попадалась все какая-то не очень свежая. Хотя для целей моей работы эти цифры решающего значения не имели. Если будет нужно, то запросим официально по каналам Андрея. А пока что я почерпнул, что в российских колониях содержатся 697 человек,

которым смертная казнь заменена на пожизненное лишение свободы. И еще 262 человека, кому казнь была заменена лишением свободы на различные сроки от 15 до 25 лет.

А еще я никак не мог понять, на какой такой мораторий у нас все время ссылаются. Потом до меня дошло, что собственно мораторием на смертную казнь у нас называют два указа Бориса Николаевича Ельцина: один – о постепенном сокращении применения смертной казни, а второй – о помиловании приговоренных к смертной казни ранее. В отношении их смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Это как раз и есть 1996 и 1998 годы, когда Россия вступила в Совет Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Естественно, это налагало на нас ряд обязательств, одно из которых – неприменение смертной казни. Также наше правительство должно было через год подписать, а еще через три – ратифицировать Шестой протокол о запрете смертной казни. Оказалось, что он в России до сих пор не ратифицирован, но смертная казнь с тех пор не применяется.

Теперь стало понятно: никакого моратория и не было. Просто название «мораторий» настолько общепринято, что его и стали применять в сложившейся ситуации. Мы свои обязательства перед Советом Европы выполнили, а для него главное, что смертная казнь в государстве не применяется.

А вот и интересующая меня конкретика. Оказывается, у нас в стране всего сидит в колониях чуть меньше миллиона преступников. Ага, подсчитал кто-то! Примерно 680 человек на каждые 100 тысяч населения. И на каждую тысячу осужденных приходится примерно два «пожизненника». А вот эта цифра выглядит уже страшненько. Если учесть, что я еще вычитал в Интернете. Ежегодно к смертной казни и пожизненному лишению свободы судами Российской Федерации осуждается от 250 до 300 человек. Ну-ка, гуманист, посчитай, сколько их будет через год, через десять лет… Не так много в процентном отношении, нежели сколько будет для них создано и на их содержание затрачено.

Оказалось, что эта категория у нас сидит в специальных колониях особого режима в Вологодской, Пермской, Оренбургской и Свердловской областях. Живут в камерах, как правило, не более чем по два человека. Имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью полтора часа, два краткосрочных свидания, одну посылку и одну бандероль в течение года. Расходы на питание заключенного с пожизненным сроком – около 20 рублей в день. Прочитав это, я обалдел. Я-то

полагал, что осужденные пожизненно – это люди, которые навеки и безвозвратно отсечены от общества. Их нет, хотя их не убили. А они, оказывается, с родными встречаются, посылочки получают… Гуляют, свежим воздухом дышат… Я поймал себя на мысли, что теряю объективность под воздействием эмоций.

Так нельзя, осадил я себя. Давай займемся анализом. Насколько нашей стране по карману гуманность? То, что уровень тяжких преступлений в нашей стране не убывает, скорее наоборот, – я уже понял. Получается, что общество должно содержать все больше и больше убийц в течение, по крайней мере, 25 лет. Ведь, судя по всему, каждый из них имеет шанс получить помилование через этот срок. Почти каждый. И сколько это будет стоить нашему государству, у которого и так не хватает денег на повышение зарплаты бюджетникам, на повышение пенсии? А ведь недалек, я чувствую, момент, когда начнется разговор об увеличении пенсионного возраста… А стипендии студентов? А наука? А, скажем, та же смешная зарплата в полиции, в которую мы то и дело мечем камни своего негодования и мажем отбросами своего недоверия?

Получается, что мы милосердны только с отпетыми негодяями, маньяками, педофилами. А на стариков, на ветеранов войны у нас его не хватает? И тут мне в голову пришла еще одна мысль. Мне подумалось, что, чем лучше будет жить общество, тем труднее будет находить людей, согласных охранять преступников. Это же насколько надо будет постоянно увеличивать им зарплату или, скажем, уменьшать рабочий день, чтобы удержать людей на такой работе! А потом пошло-поехало… Заключенные, просидевшие 20–25 лет в тюрьме, будут нуждаться либо в центрах адаптации, либо в специальных психиатрических больницах. А потом всплывет, что и бывшим работникам этих специальных колоний требуется реабилитация. И на все это необходимо затратить немалые средства. И обязательно кто-то начнет заявлять, что тратить большие деньги на содержание и реабилитацию матерых преступников абсурдно. И будут начинаться все новые и новые витки по обсуждению вопроса целесообразности отмены смертной казни. И найдет коса гуманизма на камень экономики!

Я вот смотрю на свою Наташку, о будущем ее думаю. И очень мне, знаете ли, хочется, чтобы она пошла в новую современную школу, оборудованную по последнему слову науки и техники. И чтобы ее учили там умные грамотные учителя. А они таковыми и будут, если у них будет достойная зарплата. Потому что пойдут тогда работать в школу с удовольствием все, у кого есть к этому тяга и талант. И хочется мне, простите меня, чтобы перед

поступлением в высшее учебное заведение моя Наташка пошла бы на бесплатные подготовительные курсы, а потом поступила в государственный вуз на бюджетное отделение, потому что иных и не будет. И абсолютно бесплатно получила высшее образование. Хорошее образование!

К нам вон зимой приезжала Иркина тетка из Саратова, которая работает в школе и которая привозила детишек в Москву на экскурсию. Она нам порассказала, как в начале восьмидесятых окончила географический факультет университета. И где она за пять лет учебы только не побывала на учебных и производственных практиках! И на Кольском полуострове, и на Урале, и на Кавказе, и на Байкале, и на Камчатке… И практики проходили в крупнейших и ведущих научно-исследовательских институтах: вулканологии, лимнологии, еще чего-то… Вот это была подготовочка, не только с указкой у карты!

И ведь все вузы работали так. А я должен теперь смотреть и радоваться, что огромные деньги идут не туда, куда бы мне хотелось, а на содержание какого-то Пети, которому втемяшилось насиловать и убивать женщин со светлыми волосами, роста метр восемьдесят и одетых в голубые блузки… Или педофила Васю, который полгода отирался возле детских площадок, хватал за руки детишек и вытворял с ними такое, что думать об этом противно… А еще там есть террористы, которые в здравом уме и трезвой памяти укладывали бомбы и с большим энтузиазмом нажимали кнопки радиозапалов. И очень радовались, когда в огне и под развалинами погибали женщины, старики, дети…

Я почувствовал, что мое отношение к смертной казни в стране заметно пошатнулось, и гуманизма у меня тоже как-то поубавилось.

По номеру телефона, который мне дал в Москве генерал Коновалов, я позвонил по автомату в аэропорту сразу же, как только сошел с самолета. Длинные гудки заунывно и раздражающе действовали на нервы. Я слушал их около минуты, потом повесил трубку. В душе зашевелилось беспокойство. Запросто могло оказаться, что генерал в Москве взял и ошибся на одну цифру, когда писал мне номер телефона. Ну, допустим, он не ошибся. А если два дня назад в колонии номера телефонов поменяли? Или просто начальник решил, что его номер ему не нравится, и перекинул телефоны, чтобы у него был номер заместителя, а у заместителя – наоборот. Или просто линия вышла из строя…

Трагедии в этом не было никакой. Я мог просто позвонить в Москву Андрею, и он бы все быстро выяснил. Подумав немного и попытавшись разобраться в себе, я понял, что дело не в телефоне,

к которому на том конце провода никто не подходит. Дело было в том, что смутное беспокойство у меня вызывает моя миссия. Даже не беспокойство, а раздражение. Что это, предчувствие, что с моей темой не все так просто? Предчувствие, что я столкнусь тут с таким, чего никак не ожидаю? Наверное, заговорила интуиция, которая восприняла всю полученную недавно информацию и сделала больше выводов. Или немного другие выводы…

Плюнув на телефон-автомат – конечно же, в переносном смысле, – я отправился в кафе на втором этаже. Между вторым и третьим бутербродом еще раз безрезультатно попытался дозвониться до начальника колонии со своего мобильника. И только за чашкой кофе и сигаретой я наконец услышал ответный голос – правда, женский. Голос поведал, что начальника срочно вызвали в город в Управление и будет он только после обеда. Я машинально посмотрел на часы – времени было пять минут одиннадцатого.

– Простите, вас Борис Михайлович зовут? – поспешил обрадовать меня голос. – Вы знаете, Виталий Яковлевич (разумеется, на самом деле фамилия, имя и отчество начальника колонии совсем другие) велел вам передать, чтобы вы пока по городу погуляли. А как только он освободится, я вам позвоню и скажу, где вы с ним встретитесь. Он вас сюда и заберет.

В интонации секретарши, или как они тут у начальников называются, было нечто такое, что чуткое ухо журналиста уловило сразу. Некое недосказанное, но явно чувствующееся «но».

– Но? – тут же спросил я.

– Что? А! – засмеялся голос. – Вы, если хотите, можете Виталия Яковлевича и не ждать. С железнодорожного вокзала идет пригородный автобус на (голос произнес название населенного пункта). Вы на него садитесь, а там у водителя спросите, где вам сойти. Там указатель будет на повороте – «ИУ/…/..». Сойдете и, если хотите прогуляться, двадцать минут пешком. А тут мы вас встретим, обедом пока накормим, расскажем, что вас интересует…

– Вот за этот совет большое спасибо! Город у вас красивый, старинный, но я ведь не на экскурсию приехал… Разумеется, я воспользуюсь вашим советом и не буду ждать здесь начальника.

Обойдя бочком таксистов и частников, которые, демонстративно покручивая на пальцах ключи, зазывали потенциальных пассажиров, я вышел на небольшую площадь. До железнодорожного вокзала можно было добраться и без такси и гораздо дешевле. В моем командировочном положении лишние траты были неприемлемы.

Сойдя с пригородного автобуса, я осмотрелся. Унылый

жиденький лес обступил узкую ленту потрескавшегося асфальта. Здесь, в низине, помимо вездесущих кленов и осин, было особенно много ольхи. И воздух от этого был сырой и чуть терпкий от запаха прелой опавшей прошлогодней листвы. Вправо, куда мне и следовало, согласно указателю, идти, простирался уже не редкий лесочек, а настоящий темный и молчаливый ольховый лес. Меня всегда удивляло, как именно ольха умудряется в любое время суток создавать такую темень под кронами своих деревьев. Еще с детства помню этот зловещий полумрак ольхового леса. То ли дело чистый и пронизанный солнечным светом сосновый лес, какой я видел под Самарой… Там на песчаниках стояли стройные сосны, и между ними было хорошо брести по мягкому ковру многолетнего опада.

Налюбоваться на дикую природу не дала мошка, которая, почувствовав тепло и запах человеческого тела, стала накатывать волнами. Несколько раз махнув перед лицом рукой, я понял, что спасение только в бегстве. При вдохе мошки попадали в нос, рот. Несколько штук попали под веко, и глаз защипало. Солнце припекало спину, и на лбу появилась испарина. Мошка активнее стала липнуть к лицу. Отплевываясь и отмахиваясь рукой, я зашагал быстрее.

Формально колония имела адрес того поселка, до которого шел автобус, но фактически отсюда до самого поселка было километров тридцать. Асфальт под ногами стал хуже. То и дело приходилось обходить большие выбоины, наполненные дождевой водой. К тому же на меня теперь напали еще и комары. Выругавшись самыми грязными словами, которые знал, и хлопаясебя ладонью по щекам, я полез за сигаретами. Прикурив, стал не столько затягиваться, сколько пускать сигаретный дым вокруг лица. Комары умерили свой пыл, но на мошку дым, казалось, не оказывал никакого действия. Они продолжали виться около лица и попадать в рот, налипая на мокрый от слюны фильтр сигареты.

Наконец, за очередным поворотом показались контуры кирпичного двухэтажного здания и часть высокого бетонного забора. В надежде на скорое спасение от насекомых я ускорил шаг и через несколько минут вышел к колонии. Обширная часть леса вокруг была когда-то вырублена, оставляя вокруг полосу деревьев шириной не менее полукилометра. Здесь торчали редкие прутики осины, несколько сосенок, но в основном все было покрыто высокой травой и кустарником. Около самой границы леса почему-то паслась одинокая коза.

Почувствовав, что мошка на открытом пространстве немного отстала, я облегченно вздохнул и сбавил темп движения.

Снаружи интересующее меня учреждение имело специфический внешний вид, который делал его похожим на тысячи других таких же в разных уголках страны. Кирпичное здание администрации колонии прижималось одним боком к бетонному забору. Крутя с интересом головой на все триста шестьдесят градусов, я пересек щебенчатую стоянку для автомашин, на которой одиноко торчали несколько потрепанных легковушек, прошел мимо огромных зеленых ворот. По одну сторону от них располагалась тяжелая дверь с большим круглым стеклянным окошечком, по другую – дверь с табличкой «караульное помещение».

Зона! Я попытался прочувствовать это слово со смаком. Странная тягостная тишина была вокруг. Я посмотрел на часы – половина первого. Или все на обеде, поэтому и не слышно специфического шума с производственной зоны, или тут всегда так. Хотя какие я надеялся услышать звуки? Рев тракторов, скрежет ковшей экскаваторов? Да, осторожная какая-то тишина. Притаившаяся.

Войдя в дверь административного здания, я тут же уткнулся в турникет и вопрошающий взгляд женщины с погонами сержанта внутренней службы за стеклом вахтерской кабинки.

– Вы к кому? – немного нараспев поинтересовалась вахтерша.

Взгляд у нее был какой-то иронично-сожалеющий. Я поймал себя на мысли, что выгляжу в самом деле несколько сконфуженно и растерянно. Наметанному глазу, наверное, было сразу видно, что я впервые в колонии, тем более в такой.

– Я к начальнику. – Мне пришлось тут же поправиться, потому что эта женщина за стеклом не может не знать, что начальника колонии нет на месте. – Я звонил, и мне сказали, что Виталий Яковлевич в Управлении, но я могу подъехать и подождать.

– Паспорт у вас есть?

Я достал из бокового кармана своей дорожной сумки паспорт и протянул в окошко, с удовольствием понимая, что бюрократические веяния эту глубинку обошли стороной. Хотя если разобраться, то я как-то по-другому все это представлял. Может быть, как в фильме «Семнадцать мгновений весны»; может, тут должны на каждом углу охранники стоять с оружием. И водить меня должны сугубо под конвоем, как по настоящему режимному объекту. Наличие же за стеклянной перегородкой не очень молодой женщины, пусть и в военной форме, несколько озадачивало.

– С кем вы созванивались? – поинтересовалась с самым добродушным видом вахтерша, закончив заносить в журнал

данные моего документа и возвращая его.

Пришлось объяснять, что я звонил по телефону, который мне дали в Москве в главке, и что здесь мне отвечал женский голос. Наверное, секретарша, виноват, секретарь… помощник… ца начальника колонии. Мне с улыбкой ответили, что я могу подняться на второй этаж и пройти по коридору направо до двери с табличкой «Начальник». Поблагодарив, я спрятал паспорт и, ругая себя, поспешно стал подниматься по лестнице.

Недовольство собой зашкаливало, и пришлось сбавить шаг, чтобы постепенно взять себя в руки и разобраться в собственных противоречивых чувствах. Я уже добрый десяток лет в этой профессии, побывал в самых разных учреждениях – от очень серьезных до откровенных шарашек; встречался с тысячью самых разных людей – от простых рядовых работников до начальников самых различных уровней и рангов. И препоны приходилось преодолевать, и без смазки в разные, извините, места пролезать. Все это давно стало привычным, обыденным, а вот сегодня я почему-то чувствую себя не совсем в своей тарелке…

Причина моего необычного состояния нашлась довольно быстро. Я понял, что ничего не понимаю, потому и комплексую. Причем до такой степени не понимаю, что даже не знаю, как себя вести. Ведь я ехал на «зону», где пожизненно упрятаны за решетку не просто негодяи, а самые отъявленные из них, нелюди. Те, кого раньше просто ставили к стенке, кого за их деяния убивали. Я приехал, и что я вижу перед собой? Тихое здание, улыбчивую вахтершу в военной форме. И предложение приехать, пока нет начальника, чтобы угоститься вкусным обедом. Бред какой-то!

Но это еще были цветочки. Когда я уверенным, как мне казалось, шагом шествовал по коридору второго этажа со стандартными синими стенами, крашенными масляной краской, впереди возле поворота мелькнули две мужские фигуры. Я готов был поклясться, что одеты они были в черные рабочие костюмы. Этого просто не могло быть! В моей голове закрутился вихрь самых разных соображений. Это не могут быть заключенные, потому что они-то уж сидят тут за двойными замками. Это какие-нибудь рабочие, которые тут ремонтируют что-то, это местные слесари-сантехники, это… Это заключенные захватили колонию, а вахтерше пригрозили, чтобы она не поднимала шума!

Две смеющиеся молодые женщины вышли из кабинета, мимо которого я проходил, бросили на меня равнодушные взгляды и двинулись к лестнице, оживленно беседуя. Я прочистил горло и остановился возле нужной двери. Что-то подсказывало мне, что стучать и проявлять иные признаки собственной воспитанности не стоит. Я взялся за ручку и открыл дверь.

Миленькая девица с погонами прапорщика сидела за обычным секретарским столом рядом с дверью из лакированного массива. И тут же рядом косяк подпирал детина под два метра ростом. Детина и секретарша-прапорщик весело разговаривали. Оба повернули голову в мою сторону.

Детина был одет в черную робу заключенного, на голове его красовалось такое же форменное кепи. Никакого сомнения, что передо мной был заключенный, не было. Более того, у парня не хватало двух передних зубов.

– Здравствуйте, – сразу отлепился парень от косяка и как-то подобрался.

Я машинально поздоровался в ответ.

– Вы что хотели? – дежурным голосом спросила меня секретарша.

– Моя фамилия Рудаков, – начал я, – утром я звонил и мне…

– А-а, журналист, – рассмеялась девушка. – Как добрались? Не заблудились?

– Я пойду, – пробасил сбоку голос заключенного.

– Иди, Саша, – кивнула секретарша. – Как Виталий Яковлевич приедет, я позвоню в общежитие.

Как только парень вышел, я не удержался от вопроса.

– Это заключенный?

– Ну да, – удивленно посмотрела на меня прапорщик. – А что? Вы их никогда не видели?

– И они у вас тут так свободно ходят?

– А-а! Вот вы о чем! Это расконвоированный. Эти в общежитии живут, тут рядом. А остальные там, за забором.

Расконвоированные смертники? Вот это да! Мы там в столице из пустого в порожнее переливаем, воду в ступе толчем, мусолим проблему, а тут выясняется, что приговоренным к пожизненному заключению живется очень неплохо. Такого просто не может быть! Этому должно иметься очень простое объяснение. И я решил набраться терпения. По крайней мере, у этой миленькой секретарши с погонами прапорщика мне просить объяснений происходящему не хотелось.

– Может, пообедаете пока? – поинтересовалась девушка. – Виталий Яковлевич звонил: у них совещание уже закончилось, он там пару вопросов решит и выедет сюда. Соглашайтесь! У нас очень вкусно готовят.

Получив мое согласие, девушка потянулась к телефону и стала спрашивать какого-то Очкина. Его быстро нашли, и секретарша тут же, выяснив, что он еще не обедал, навязала ему приезжего журналиста. Через пару минут в комнату вошел молодой человек с погонами старшего лейтенанта и в форменной

фуражке с высоченной тульей. Я невольно задержал взгляд на этом форменном головном уборе. Никогда не понимал, почему год от года фуражки военных становятся все выше и выше. На мой взгляд, это было не только не очень красиво, но и неудобно. Я всегда полагал, что военная форма должна быть максимально функциональна, даже повседневная. Береты там какие-нибудь или что-то в этом роде. Ведь у них наверняка случаются всякие «тревоги», учебные и настоящие. А тревога в моем понимании предполагает быстрое перемещение на свое… рабочее место или какое-либо другое, предписанное уставами. И какая беготня может быть с таким сооружением на голове? Это же все ветром сдует; свалится обязательно, если не держать руками.

– Вот, Володя, – кивнула секретарша в мою сторону, – познакомься, это Борис Михайлович, журналист из Москвы. Захвати его с собой в столовую, пока Воронежцев не приехал.

Володя Очкин оказался словоохотливым начальником отдела маркетинга. По сути, он со своими подчиненными занимался реализацией всего того, что производилось заключенными в цехах колонии. Я слушал его рассказы о продукции, цехах и уникальных мастерах, которых жалко отпускать на волю. Я несколько в ином свете теперь созерцал внутренние интерьеры административного здания. Что касалось деревянных дверей кабинетов, то теперь стало понятно, что все они изготовлены здесь же, в столярном цеху. И аляповатая резная дверь кабинета начальника колонии была гордостью здешнего мастера, который, увы, не имел представления о современных тенденциях в офисном дизайне.

Потолок коридора из подвесных дюралевых плиток был изготовлен, наверное, годах в семидесятых. Стены в столовой были расписаны масляной краской. Поблекшие березки и девушки в белых косынках среди них улыбались со стен тоже, наверное, уже очень много десятков лет. Такого же возраста была и ажурная металлическая перегородка с деревянными вставками между обеденным залом и витриной раздачи.

Самый главный вопрос я приберег на момент, когда мы наконец усядемся за свободный столик и примемся за еду. То, что я услышал, заставило меня чуть ли не облегченно расхохотаться в голос. Все оказалось до идиотизма простым; я, незнакомый с этой системой, не мог и предположить такого варианта. А генерал Коновалов в Москве не объяснил мне, что я еду не в колонию, где содержатся осужденные к пожизненному заключению. Это была обычная колония, просто в ней существовал отдельный блок для «пожизненников». Колония в колонии.

После обеда Очкин устроил мне экскурсию по

производственной зоне. Наконец передо мной открылась дверь в иной мир, о котором я знал только понаслышке, по фильмам и чужим публикациям. Открылась она в прямом смысле, и именно та, что имела большой смотровой глазок и находилась на улице рядом с воротами и другой дверью с надписью «Караульное помещение».

Буквально с первых шагов я попал в мир решеток. Коротенький коридор за входной дверью заканчивался решеткой с дверью – точнее, небольшим решетчатым тамбуром, клеткой. В этой тесной клетке, рассчитанной, как мне объяснили, на троих человек, мы сдали в окошечко свои мобильные телефоны. Потом открылась противоположная дверь, и мы вышли на территорию колонии. Справа оказался еще один каменный забор все с той же колючей проволокой поверху, который отделял жилую зону от производственной.

И снова начались решетки. Вся территория состояла из отдельных блоков, разделявшихся решетками. В каждом блоке располагались цеха, склады, будки у входа, где торчали дежурные заключенные. Они обязаны были открывать и закрывать проходы. Кстати, те немногочисленные зэки, которые встречались на нашем пути, очень приветливо и старательно здоровались. Я поинтересовался, что это? Тоска по свободе, по общению со свежими людьми, с людьми с воли, оттуда, из-за стены? Оказалось, что это просто элемент дисциплины. Не поздоровайся заключенный – и он тут же загремит в ШИЗО, как здесь назывались штрафные изоляторы, а по сути карцеры.

Я добросовестно ходил по цехам, смотрел деревообрабатывающее оборудование, металлообрабатывающее оборудование, осматривал изготовленные двери и оконные рамы, дачные беседки, мусорные уличные контейнеры, швейные цеха. Я смотрел, слушал, а самого не оставляло тягостное ощущение. Все здесь было пропитано тоской, застарелой обидой, унижением, будничной серостью. Не было ощущения окружающей тебя злобы, это было скорее терпеливое тоскливое уныние.

Вот рядом строится группа заключенных. Их человек двадцать. Я постарался уловить что-нибудь в их взглядах. И ничего не уловил. Только равнодушие и привычную опаску при появлении человека в форме. Опаску получения наказания за что-то. Я вдруг понял, почувствовал суть выражения «тянуть лямку». Оно мне даже показалось очень близким по смыслу с его теперешним значением и значением, которое восходит корнями к временам бурлачества. Монотонно, угрюмо, терпеливо тянули и тянули бурлаки баржу, увязая по щиколотку в прибрежном песке, путаясь ногами в траве, спотыкаясь о коряги. Так же и здесь, как

мне показалось, тянули и тянули свой срок зэки. Монотонно, угрюмо, терпеливо. Попадая в незнакомое мне ШИЗО за малейшую провинность, терпя унижения, возможно, третируемые всякими матерыми уголовниками.

На меня на самого нашло какое-то оцепенение. Я попытался стряхнуть его и понял, что поддаюсь общей атмосфере. Все-таки я очень впечатлительный человек. И день сегодня погожий, солнечный, и в столовой меня накормили сытно и в самом деле вкусно, – а вон как накатило! Зона…

К начальнику колонии я попал только ближе к трем часам. Старший лейтенант Очкин вел меня по коридору, когда около кабинета Воронежцева я увидел невысокого полковника в окружении нескольких человек. Часть из них была в «гражданке», но мне уже объяснили, что начальники цехов, мастера производства, еще кто-то – люди вольнонаемные и не являются офицерами.

Виталий Яковлевич приветливо протянул мне руку, когда я вошел к нему в кабинет. Все те же деревянные панели местного производства на стенах, все те же поделки зэков-мастеров на столе, на стене, на столике в углу. Все в этом помещении отдавало архаизмом, добротностью и прошлыми десятилетиями. Как будто веяния нового времени не дошли сюда, как будто этот изолированный мирок замер в момент его создания в прошлом веке и с тех пор монотонно и тоскливо крутится и крутится на месте, как пластинка в проигрывателе, когда игла давно уже соскочила с дорожек.

И сам хозяин кабинета был как будто из того мира. Приветливый добродушный дядька, которому сильно за пятьдесят, с заметным брюшком и лысеющим черепом. Кисти рук с рыжими волосками были какими-то промытыми, ухоженными. И лежали они на крышке стола уверенно, основательно. И серые глаза, которые смотрели на меня из-под густых бровей, были добрыми, с покровительственным взглядом.

Если бы не этот кабинет, если бы не полковничьи погоны на плечах Воронежцева, не заборы, решетки и колючая проволока за окном, то вполне можно было бы отнестись к внешности начальника колонии как к чему-то естественному. Но о заборах, проволоке, сотнях и сотнях людей в черных робах я помнил. И еще понимал, что добродушные, приветливые дядьки полковниками не становятся. И все, что я вижу перед собой, – не более чем напускной образ. Эдакий Пал Палыч Скороходов из фильма «Джек Восьмеркин – американец», которого замечательно сыграл Лев Дуров. Добрейший человек, так радеющий о благе ближнего, буквально последнюю рубашку не жалеющий, – и тем

не менее крепкий кулак, зажиточный разворотливый хозяин.

Моя профессия учит хорошо разбираться в людях. И я сразу понял, что под маской приветливого добряка скрывается именно такой «кулак». И маска эта сформировалась потому, что у него всегда все работает, крутится и вертится так, как надо. Работнички трудятся, механизмы исправно гудят, а хитрые схемы, неизбежные для того, чтобы хозяйство процветало, а хозяин был сыт и доволен, тоже исправно работают. И не сладко приходится тому, кто в этом хозяйстве идет против хозяина…

Мы обменялись обычными фразами о том, как я добрался, о том, что производит колония, какие уникумы тут иногда отсиживают свой срок. И все это под чаек и печенье, которые принесла миленькая секретарша-прапорщик. Приличия были соблюдены, и разговор, наконец, повернул в нужное мне русло.

– У меня их тут сто пятьдесят шесть душ, – покивал полковник. – Сидят, конечно, в отдельном блоке, под особым режимом, спецучасток ПЛС охраняет свой караул, работают там свои инспектора-контролеры. Место это, скажу я вам, не для слабонервных. Как у тебя с нервишками-то у самого?

– Не жаловался, – пожал я плечами и тут же нарвался на пристальный взгляд полковника, в котором были твердость и беспощадность, до того скрываемые напускной приветливостью и добродушием. И мне стало не по себе.

– Значит, ты хочешь статью про них написать?

– Хочешь… – хмыкнул я. – Тут дело не в этом, Виталий Яковлевич. Журналист – он тот же солдат, только средств массовой информации. Он идет туда, куда его посылают, и пишет о том, о чем велят. Поступил заказ на такую статью – и послали меня, потому что я его могу выполнить. А насчет «хочу»… Наверное, хочу. Тут вы правы, потому что я не был бы журналистом, если бы меня не заинтересовала тема. И статья будет не о них, не о вас, а о явлении, о ситуации, когда отменена смертная казнь и когда она заменена пожизненным заключением. Конечно, и о людях, которые его отбывают, но и об условиях их жизни…

– Люди, говоришь… Это не люди, Боря. По разным причинам они совершили то, за чтоих осудили. Может, кто и был до этого человеком, плохим, но человеком. А тут у нас, на спецучастке, людьми не остаются. Охране, и той трудно людьми оставаться, а уж заключенным… Зря вы все это затеяли. Я, конечно, ослушаться не могу, коли в Москве приняли решение пойти вам навстречу. Только вот что я тебе, Боря, скажу: смотреть ты можешь, впечатления свои записывать можешь, а вот приказать своим людям отвечать на твои вопросы, извини, не могу. И у

заключенных есть свои права, как это ни парадоксально. Фотографировать их, спрашивать зэков без их согласия ты права не имеешь. Даже фамилии называть.

– Это я понял. Мне Коновалов объяснял в Москве. Я, Виталий Яковлевич, не буду называть номера вашей колонии и места ее расположения, потому что эти данные никакой роли в статье не играют. Она просто одна из нескольких, и неважно, о какой именно я буду писать. И ни одной настоящей фамилии в статье не будет, об этом я сразу скажу в тексте. Ни вашей, ни ваших подчиненных, ни заключенных, если они даже и согласятся, чтобы я их личные данные озвучил.

– Вот это правильное решение, – одобрил полковник.

– Пытаюсь понять, – не очень весело усмехнулся я. – А скажите, Виталий Яковлевич, вы застали те времена, когда смертные приговоры приводились в исполнение?

– Я, Боря, тридцать четыре года в этой шкуре, – вздохнул полковник и задумчиво посмотрел в окно. – Как политехнический институт окончил, так и пошел работать в эту систему. Начинал лейтенантом в производственном отделе в Управлении, а теперь вот… вот здесь. Много чего сам видел, много чего рассказывали. Лично знаю двоих, кто приговоры в исполнение приводил. Точнее, знал.

– В смысле?

– В смысле, что нет их уже, Боря. Долго с этим грузом на душе не живут. Один спился и замерз зимой в подворотне. А второй от рака умер. Только намеков у него с молодости на рак никаких не было. Ни у него самого, ни в родне. Слышал, говорят, что все болезни от нервов. У нас все считают, что если бы он палачом не поработал, то никакой рак у него бы и не открылся.

И Воронежцев стал рассказывать о том, что он знал по службе о смертных казнях. Не о том, как приводился в исполнение приговор – неважно, караульный взвод во дворе или пистолетный выстрел в затылок. Кстати, о способах он и не говорил. А рассказывал, как поставлена была процедура в целом. Как офицеру, приводящему в исполнение приговор, давалось время на подготовку. И делалось это единственным способом – ему передавалось для ознакомления дело приговоренного.

Если разобраться, то с точки зрения абстрактного человека в этом большой необходимости не было. Какая разница, за что его нужно казнить? Если суд приговорил – значит, есть за что. Твое дело – застрелить этого человека, и всё. Но люди, составлявшие систему исполнения наказаний, понимали, насколько это психологически трудно. И предоставленное для ознакомления дело выполняло роль стимулирующего психогенного препарата.

Палач должен был понять, что совершил приговоренный, должен был осознать всю меру зла, которое стоит за его деянием, объем горя, принесенного конкретным людям или государству. Это помогало чувствовать себя не убийцей, а рукой правосудия, выработать не просто чувство ненависти к тому, кого он должен будет убить, а именно осознать свою роль вершителя справедливого наказания.

И все равно, как следовало из рассказа, палачи долго не работали. Их вовремя освобождали от этой работы, опасаясь, чтобы человек не сломался. А кто знает, что внутреннего надлома не произошло, если нет внешних признаков? И мог ли вообще этот внутренний надлом не произойти? Особенно если учесть, что осужденному объявляли о времени и часе исполнения приговора, если учесть, что когда его вели на казнь, он об этом знал. Кто может представить себе состояние человека, которого ведут на казнь? Только тот, кто был этому свидетелем. Свидетелем реакции приговоренного, а они ведь бывают разными, независимо от того, каким злодеем, каким вурдалаком был преступник.

Кто видел эти истерики, кто видел глаза обреченного человека, тот, говорят, до конца своих дней от этих воспоминаний не избавится. А если финалом всей этой ужасной сцены будет еще и твой выстрел? Если в финале всего этого будет кровища, дергающееся в конвульсиях тело? И если ты не можешь не смотреть, а обязан вместе с врачом убедиться, что приговоренный мертв, что приговор приведен в исполнение?

И кто, кроме этих капитанов и майоров, нажимавших на спусковой крючок, знает, что не приходилось делать повторного, контрольного выстрела, потому что после первого выстрела не было гарантии… Смотреть на сделанное тобой и стрелять еще раз. Может, отработанная процедура казни и гарантировала стопроцентную эффективность одного выстрела. А если нет, а если случались ошибки? А если просто по инструкции положено стрелять во второй раз?

Все, что я узнал от начальника колонии о смертных казнях, привело меня к раздвоению личности. Стоп, сказал я себе, а ну-ка давай без соплей абстрактного гуманизма. Перед тобой картина, как государство вообще борется с преступностью как с явлением. И тут же вторая моя половина, которая как раз и была вся в этих соплях, заявила, что нет государства вообще, а есть конкретные люди, которые принимают конкретные законы. А есть конкретные люди, которых этот закон карает. И есть конкретные люди, которые действуют от имени закона, исполняя его. Живя в обществе, нельзя быть свободным от него, – эту аксиому выдумал не я. Если ты родился в этом государстве, то ты обязан быть его

гражданином со всеми вытекающими из этого для тебя последствиями. Если тебя не устраивают законы, само государство, то у тебя два выхода: либо противостоять этому государству, бороться против него, противостоять его верхушке за иные законы, которые тебе ближе, либо покинуть это государство. Пардон, есть и третий выход – помалкивать в тряпочку и жить.

С этих позиций все выглядит нормальным, но есть и моральная составляющая. Во-первых, право лишать другого человека жизни, решать, кто должен жить на свете, а кто не должен. А во-вторых, заставлять своих законопослушных граждан выполнять грязную, ужасную работу, которая калечит их морально. Это их долг перед государством? Да. Они берутся за эту работу добровольно? Да. По убеждению? А вот тут я засомневался, а Воронежцев мне ничего вразумительного не ответил.

Молодые люди идут в армию, в спецназ, в полицию не потому, что там хорошо платят или есть колоссальные льготы, которые могут привлечь. В армии стали снова хорошо платить только в последнее время, а в полиции до этого еще далеко. Значит, идут, зная, что там, может быть, придется воевать, стрелять, убивать, но мотивируются только романтикой. Какая, к чертям, романтика в работе палача? Видимо, все же были там какие-то надбавки, иные сроки выслуги, которыми можно было в государственные палачи заманить офицера. С одной стороны, хорошо, что было чем заманить, а с другой – людей просто покупали, зная, что в нашей стране за деньги многие готовы на многое. Не особенно заботясь о последствиях для себя.

Я понял, что меня занесло в такие дебри, в которых многие современные мыслители-гуманисты и прогрессивные политические деятели ворочались, как слоны в посудной лавке. И все потому, что на эти вопросы не существует однозначных ответов. Опять же если вспомнить, что ты отец, что у тебя малолетняя дочь, а на свете ходят педофилы. Получалось, что как отец, как простой обыватель я за категорическое истребление всякой нечисти физически. Но потому и стало нарицательным мнение обывателя, что направлено на себя лично, на свой мирок, ограниченный стенами своей кухни и кухонными разглагольствованиями.

А как журналист, как гуманист и просветитель, я обязан быть противником смертной казни, потому что это пережиток доисторических времен, потому что это нецивилизованно. И я понял, что готов на компромисс – не убивать, так навечно изолировать от общества. Тягостно, уныло, свихнуться могут они в этих камерах, решетках и заборах? Пусть радуются, что не

шлепнули, пусть радуются, что им удалось избежать этих страшных минут, когда тебя извещают, что в шесть часов утра тебя казнят, когда у тебя впереди ночь наедине с собой и своими ожиданиями, когда путь из камеры до места казни становится душераздирающей пыткой, потому что тебя разрывает на части древнее, как первобытный бульон из аминокислот, желание жить…

От начальника колонии я вышел полный брезгливо-снисходительного чувства к тем, кто содержится в спецучастке ПЛС – пожизненного лишения свободы.

Камуфляжный костюм на парне, который представился мне, скажем, Сергеем, сидел плотно, как влитой. Не курит, не пьет, занимается спортом, женат, есть сын. На все эти вопросы контролер отвечал односложно, с улыбкой. Раньше работал в другой зоне, серьезной, где содержатся только осужденные пожизненно. Я слушал ответы, а сам не мог оторвать взгляда от глаз Сергея. Вроде и шутит, улыбка то и дело набегает на лицо, а взгляд не меняется. Все то же болезненное напряжение. Я такие глаза встречал в больницах у людей, которые лежат, разговаривают с тобой, даже шутят, но при этом стараются превозмочь мучительную боль. Мы сидели в караульном помещении и беседовали.

– Острых ощущений? – Сергей чуть опустил лицо, и мне показалось, что коротко остриженные жесткие волосы на его темени шевельнулись. После короткой паузы он добавил: – Этого добра я испытал столько, что на несколько жизней хватит.

– А что ты сам чувствуешь, изо дня в день находясь среди смертников?

– Смертники – это точно, – без усмешки ответил Сергей. – Мы их так называем по привычке, но по сути они смертники. Зона для смертников – это серьезное испытание для любого, кто окажется по ту сторону колючей проволоки. И для тех, кто тут служит, и для тех, кто сидит. Понимаете, восприятие жизни меняется. Вы там еще не были?

– Нет, я только вчера приехал, с начальством вашим встречался. На промзоне был, цеха смотрел…

– Ну, это вы в раю были, – покачал Сергей головой.

Я с сомнением посмотрел на парня. Сидит вроде спокойно, уверенно, а вещи говорит страшные. Что это он? Кичится тем, что у него самая трудная на свете работа? Или уже надлом наметился? А выглядит сильным человеком… Может, «на публику работает»? Знавал я таких еще по армии и после. Есть такие любители потравить байки на тему «знаешь, где я служил» и «не приведи господь кому еще испытать то, что я испытал». Меня

самого по молодости подмывало о службе подзагнуть.

Кстати, здесь, в колонии, я испытал кое-какие чувства, знакомые мне по службе на флоте. Я ведь три года отбарабанил. Шесть месяцев, правда, в «учебке», а вот два с половиной года в железной коробке БПК – большого противолодочного корабля. Везде сталь: и под ногами, и над головой, и стены вокруг. Поначалу на психику очень действовало, но постепенно служба наладилась, нервы в порядок пришли. А ведь там тоже без команды ни шагу, и дисциплинка не дай боже. Но мы находили отдушины. Как ни странно покажется тем, кто не служил, но именно от монотонной рутины и тоски по дому отвлекали боевые дежурства. А еще тренажерный зал. Так что мои бицепсы и мощный торс остались еще с флота. У нас это называлось «умерщвлением плоти».

– У нас тут одинаковые шансы «съехать с катушек», – продолжал говорить Сергей, – и у зэка, и у охранника. Вы сейчас это ощутите на себе, что не в зону входишь, а в другой мир. Это как вход в ад, а мы нужны, чтобы черти не разбежались.

– И отношение к ним соответственное?

– Конечно, соответственное. Если за людей их будешь держать – сам не выживешь.

– Бывает, что и не сдержишься? – попытался я намекнуть.

– Нет, бить, издеваться запрещено категорически, – серьезно ответил Сергей. – Да и не станет этого никто делать.

– Почему?

– Сами поймете. Вот побудете там часок-другой – и поймете. Главное – думать о них как о людях невозможно. Да и нельзя. Сегодня пожалеешь, завтра – в глаза заглянешь, послезавтра – дрогнешь, повернешься спиной… И все. Это дрессировщик в цирке может себе позволить к хищнику спиной повернуться. Но там он своего тигра или льва вырастил, с рук кормил. Там хищник может напасть по вполне объяснимым причинам, и их очень мало, этих причин. А у нас все гораздо хуже. Нам смертельно опасно вообще поворачиваться к ним спиной.

– И что же, ни у кого из охраны, из контролеров нет ни капельки сострадания? Ведь есть, наверное, и раскаявшиеся?

Сергей так нехорошо улыбнулся, что у меня возникло непроизвольное желание отодвинуться даже от него.

– Если они почувствуют в тебе слабину, то опомниться не успеешь.

– Нападут?

– Могут даже без физического воздействия обойтись, просто начнут душу выматывать – здесь этому искусству быстро учатся. Если в тебе слабина есть, то служить здесь лучше не суйся. Через

пару лет в такой атмосфере станешь готовым клиентом для психушки. Нельзя тут относиться к заключенным как обычно. Потому что это не люди. И не звери. Это хуже.

Я слушал то, что сейчас говорил мне Сергей, и пытался относиться к его словам скептически. Но в то же время уже чувствовал, что мой скепсис улетучивается и улетучивается. Наверное, мрачность его рассказа накладывалась на мрачность моих ощущений. И даже не эмоциональных – я уже физически ощущал, что сквозь тоску и унылость колонии просачивается что-то зловещее, угнетающее своей безысходностью, обреченностью. Что-то давящее, как бетонная плита. И еще – огромное напряжение, боль.

Почему-то мне вспомнилось прочитанное ранее об аде. Некто высказывал свое мнение, что в аду грешники испытывают отнюдь не физические муки. Этот некто полагал, что ад есть именно чистилище в полном смысле этого библейского понятия. И очищающий огонь отнюдь не физическое пламя, а огонь внутренний, сжигающий, а точнее жгущий, изнутри. Грешники в аду очищаются, претерпевая муки душевные, муки раскаяния, сожалея о содеянных при жизни грехах. И вспомнилось мне все это, как я теперь догадался, именно потому, что я физически ощущал душевные муки, эмоциональный негативный накал, который исходил именно отсюда – из-за трехметровой стены спецучастка ПЛС.

Сергей провел меня все через тот же стандартный предбанник. То же окошечко, куда я сдал мобильник, паспорт. Опять мысленно пробежал по своей одежде, вспоминая, нет ли при мне чего режущего и колющего. Опять получил жестяной жетончик, опять под действием электропривода отъехала дверь из толстых железных прутьев. И опять, как и в прошлый раз, когда меня водили на экскурсию на промзону, мне предстояло шагнуть на территорию зоны, но теперь уже другой. И я замер на месте. Сергей обернулся и уставился на меня, ожидая, когда я выйду следом, а я не мог сделать этого последнего шага, после которого со зловещим стуком встанет на место тяжелая решетчатая дверь и отсечет меня от остального мира.

Черт бы побрал мою эмоциональность! Я опять очень остро ощутил, что для преступников, совершивших тягчайшие преступления, все, что было до этого порога, – было еще жизнью. Там оставался процесс следствия, там были камеры СИЗО, была машина, возившая их на суд, пересылка, поезд. То есть все это было еще частью человеческого мира. А вот то, что они наверняка осознавали на этом (или другом, через который их сюда вводили) пороге, – что это всё, что это навсегда, что это окончательно и

бесповоротно. Что отсюда им дороги назад нет, что здесь они проведут остаток своих дней. Мне стало жутко.

Lansciate ogni asperanza voi ch'entrate – оставьте всякую надежду, сюда входящие! Такую надпись разместил над воротами, ведущими в ад, великий флорентиец Данте Алигьери. И написал он свою «Божественную комедию» примерно в моем возрасте. Экскурсия в ад? Ну, что же, такая у меня работа! И я сделал шаг вперед.

Все то же, все те же неприметные вышки, которые мне запретили фотографировать, та же контрольная полоса по периметру для патрулирования. Услышав лай собаки, я вспомнил, что пару дней назад вычитал афоризм: «Друзья человека стерегут врагов человечества». И сказано это было применительно к спецзонам. Вспомнил я это, потому что увидел перед собой не совсем то, что ожидал. Не типичный концлагерь, какими их показывали в фильмах, – хотя там, говорят, на территории охраны тоже были цветники. То, что предстало передо мной, было больше похоже на общежитие или старые, виденные на фотографиях ЛТП для алкоголиков.

Пара кирпичных домов очень старой, но крепкой постройки, хозяйственные строения, ухоженные цветочные клумбы под окнами. «А ведь их из окон камер не видно», – подумал я. Но потом до меня дошло, что цветы эти не для заключенных, а для администрации. Может, для душевного комфорта обслуживающего персонала и охраны, а может, для начальства и комиссий. Я таращился по сторонам, и до меня дошло, что Сергей что-то мне говорит.

– Приспосабливаются, кто как может и у кого какая натура.

– Интересно, и как же? – заинтересовался я.

– По-разному. Кто-то в религию ударяется, к богу обращается. А другой начинает работать в две смены, чтобы занять не только руки, но и мозг. Все-таки, когда что-то руками делаешь, часть сознания на процесс переключается. Ну, а есть такие, что живут надеждой, что через 25 лет после начала отбывания наказания дело пересмотрят и все-таки появится шанс обрести свободу.

Я остановился и нацелил фотоаппарат на здания. Сергей остановился и с каким-то неодобрением стал смотреть на меня.

– Вы что? – спросил я. – Мне сказали, что можно фотографировать.

– Я знаю, – поморщился Сергей. – Только… вы не застали тех времен, когда была мода фотографироваться на кладбищах с гробом умершего? А я видел такие фотографии. Тягостное зрелище. Всю жизнь хранить фото трупа и лица людей со скорбными минами, с выражением горя на лице… Такой негатив,

и дома хранить! То, что вы фотографируете, тоже чем-то труп напоминает. Не надо горе и беду снимать.

– Увы, Сергей, но это часть моей работы. Да и на стены я их вешать не собираюсь.

Сергей посмотрел на меня без всякого выражения. Ясно, что моя неуклюжая попытка пошутить до него не дошла.

– Вас предупредили, что заключенных без их согласия тоже фотографировать нельзя?

– Да, конечно, – вздохнув, проговорил я обреченно.

Я это помнил. Разрешение требуется получать в письменном виде и обязательно заверять в администрации. Сергей в который уже раз предупредил меня, чтобы я не поддавался иллюзии безропотности, видимого послушания и готовности выполнять требования контролеров. Каким бы дисциплинированным и кротким ни выглядел среднестатистический осужденный, абсолютное их большинство в курсе, что имеют право на приватность.

– Есть у нас такие любители, – серьезно сказал он мне. – Так и норовят поконтактировать с приезжим журналистом. Только условия ставят: пара блоков сигарет и пара пачек чая. Но вы особенно не торопитесь, приглядитесь сначала, а то так и будете в продуктовую лавку бегать. Ничего путного они вам не скажут. Вы сами поймете, кто и что здесь собой представляет. Пойдемте, я покажу вам прогулочный дворик.

Ассоциации человека, который привык писать, человека, который в каждое слово привык вкладывать свой смысл, тот, что навевался эмоциями, воспоминаниями, образами… Для меня слово «дворик» в первую очередь имеет два образа. Стена бревенчатого дома, завалинка, цветущая яблоня неподалеку; чисто выметено, тележное колесо у верстака, сетчатая дверка курятника; ну и на завалинке дедок в старой ушанке, валенках и с огромной самокруткой. Или второй образ из далекого детства: старые, послевоенной постройки трехэтажные дома, стоящие буквой «П»; тут же разнокалиберные сараи, веревки с бельем, старый «Запорожец», неизменный стол, на котором мужики рубятся в домино, и у подъезда лавка с бабульками.

Ан нет, дворики бывают разные, в том числе и «прогулочные». То, что я увидел, поднявшись с Сергеем по металлической лестнице в три пролета, не наводило на мысли о безмятежном покое теплого летнего вечера, «золотых шаров» в палисаднике и стука домино по жестяной крышке стола. Перед моим взором предстал угрюмый и зловещий большой каменный колодец. А внутри он поделен решетками на десяток клеток. На меня как будто даже пахнуло запахом зверинца. И все это

сооружение забрано сверху толстенной решеткой и очень частой сеткой. Вот оно, сказал я сам себе, расхожее представление о небе в клеточку. И в крупную, и в мелкую.

– Значит, им разрешено гулять?

– Да, – кивнул Сергей. – Каждый осужденный имеет право на одну прогулку в день.

– Имеет право? – удивился я, не в силах оторвать взгляда от этого зверинца под открытым небом. – Вы хотите сказать, что…

– Что насильно не выводят, только по желанию. Не хочешь на свежий воздух – сиди в камере. Посмотрите вон туда. Видите? Там есть турники, штанги и брусья. Даже теннисный стол, только его пока не отремонтировали. На прогулку у осужденных отведено 90 минут.

Вот, значит, что у них тут понимается под прогулкой. А чего я, собственно, ожидал? Что приговоренных к пожизненному заключению безвылазно держат в камерах?

– Послушайте, Сергей, – спросил я, налюбовавшись на прогулочный загон, – а вы в курсе, как смертников содержат за границей?

– Слышал. В Интернете читал. На Западе им устраивают чуть ли не спортивные состязания. Где-то, не помню где, на лето монтируют даже небольшие бассейны; где-то разрешают кататься по территории на велосипедах… Судя по фотографиям, у них зона больше напоминает коттеджный поселок эконом-класса.

– Да, что-то они там с гуманизмом перебарщивают, – согласился я. – Очень трепетно на Западе относятся к правам человека. Если в живых оставили, то обязаны создать условия для проживания. Вы своих подопечных видите в таких курортных условиях?

– Не дай бог дожить до таких нововведений, – буркнул Сергей не оборачиваясь. – Ну, пойдемте в жилой корпус. Распорядок строгий. Подъем в 6 утра. Умывание, зарядка, завтрак. Кто работает, тот по распорядку выходит на работу.

– А что, есть такие, кто не работает?

– Из 156 человек работают только восемьдесят. На швейных машинках строчат рабочие рукавицы. Остальным не только иглы в руки давать опасно из-за неустойчивой психики – желательно за пределы не выводить, чтобы не создавать предпосылок к нападениям на администрацию или других эксцессов. Вы не забыли, кто у нас тут сидит?

– А что, и нападения бывают? – изумился я. – Здесь?

– Все бывает в этом зверинце, – кивнул Сергей и продолжил свой рассказ. – Обед у них в двенадцать. Вечером личное время: можно книги читать, в настольные игры играть. Отбой в десять.

– А какая необходимость заставлять их работать?

– Отрабатывают содержание. Кроме того, они ведь кое-что и зарабатывают. В среднем около двух тысяч с небольшим. Кто-то отсылает эти деньги на волю родным, кто-то тратит на себя – покупает через охрану чай и сигареты.

Я с некоторым сарказмом похмыкал за широкой спиной Сергея, но промолчал. Что-то и у нас переигрывают с гуманизмом. Зарплату какую-то придумали… Скажите спасибо, что к стенке не поставили. Но почему-то эта мысль уже потеряла видимость стального стержня. Что-то внутри у меня было смущено зверинцем, в котором держат людей. Ну, пусть не людей, пусть злодеев. Хотя я видел только место для прогулок…

И вот передо мной открылась еще одна стальная дверь, и я шагнул в иной мир. Это я почувствовал сразу. Тишина была именно казематная, несмотря на свежевыкрашенные стены, двери, приличные чистенькие светильники. И в этой тишине гулко отдавались наши шаги. Где-то лязгнула решетка или замок, и я вздрогнул.

Мы шли длинным коридором с высокими, чуть сводчатыми потолками и камерами по обе стороны. Я хорошо помнил, что корпус был двухэтажным, но здесь, внутри, у меня сложилось полное ощущение, что я нахожусь в глубоком подземелье. И современная краска, и сварочные швы на решетках не могли избавить от иллюзии, что я попал в Средние века. Двери, двери, двери… Массивные железные двери серого цвета, с замками, глазками, засовами. Я остановился и вздохнул. Это появилась такая потребность, как будто в груди не хватает кислорода. Стены давили и давили на меня. Мыслей в голове не было никаких. Просто вязкая пустота, а в ней далеко и гулко пульсировало одно слово – «пожизненно». Наконец я разлепил губы и выдавил очередной вопрос Сергею, который терпеливо стоял и ждал меня.

– А это что за клетка? – указал я пальцем на сооружение в начале коридора – отдельное помещение, разделенное на три части решетками.

– Это комната краткосрочных свиданий (не более четырех часов). Заключенный помещается в одну клеть, близкие или родственники заходят в другую. Между ними – место дислокации контролера.

– Свидания? – опешил я. – Им разрешены свидания?

Сергей просто кивнул мне в ответ и пошел дальше. Логика определенная, конечно, в этом была. Если не казнили преступника, то он просто отбывает срок. И срок у него большой – вся жизнь. А раз он живой, то, наверное, и должен иметь право на свидание. Господи, я чуть не схватился за голову. И как же

близкие-то смотрят на своих… ведь их сюда посадили за такое, что… Что представить страшно. Хотя, а как бы я сам на их месте относился, если бы мой близкий родственник… Черт его знает; подумать надо об этом, представить себе это. Но выглядела ситуация, конечно, дико. На мой неискушенный взгляд.

– А это что за провод? – Я посмотрел вверх на толстый витой провод, который тянулся вдоль стены. – Электрический? Что-то у вас тут с проводкой…

Фраза мне самому показалась глупой и наигранной, потому что я уже начал понимать, что все здесь не случайно, что все здесь выверено до мелочей, все правила и инструкции написаны в буквальном смысле кровью. И это слово «дислокация», которое привычно произнес Сергей, говоря о комнате свиданий, было доказательством, что в каждого, кто тут служит, инструкции вбиты крепко-накрепко.

– Это своего рода сигнализация, – остановился Сергей. – Имеется она в каждом коридоре, куда из камер выводят осужденных. Устроена, как видите, специально на высоте поднятой руки. В случае опасности конвоир может дернуть за него, вызвав подмогу. А между камерами висят, как мы их называем, «почтовые ящики».

Я в самом деле увидел небольшие железные короба неприметного серого цвета, чем-то действительно напоминающие почтовые ящики.

– При возникновении нештатной ситуации, – спокойно объяснял Сергей, – конвойный по инструкции обязан бросить в ближайший к нему ящик связку ключей. Достать их можно, только открыв навесной замок. Или сломав его. При сигнале опасности все двери блокируются автоматически.

– Это если заключенные вырвутся? Если произойдет нападение на конвойного? – Я смотрел в спокойно сосредоточенное лицо Сергея, и мне стало опять нехорошо. – Слушайте, а сам конвойный? Если все блокируется, они же разорвут его…

– В данной ситуации речь не о нем, – бесстрастно ответил Сергей.

Я посмотрел вдоль коридора и представил разъяренных заключенных, вырывающихся из камер. Как под их ударами падает охранник или двое охранников, а заключенные продолжают… Нет, это откуда-то из американского кино про бунт в тюрьме. Нервы мои стали давать о себе знать. Я попытался унять их, представив людей в черных робах. Они ведь тут должны быть все опустившиеся, обреченные, вялые, безжизненные. Одно слово – смертники, которым выхода отсюда нет.

Я пытался настроится на волну спецучастка, понять, что тут чувствуют охранники, заключенные. Ведь мне нужно подбирать точные емкие слова, фразы, формулировки, сравнения, когда я начну работать над текстом своей статьи. Получалось что-то не очень убедительное. Смертники, как их по привычке тут называют, сидят отдельно от других заключенных, приговоренных к конкретным срокам. Они работают, у них сносные условия существования, их не бьют, над ними не издеваются. Они имеют возможность даже работать и зарабатывать какие-то деньги на свои маленькие радости. Им даже оставили надежду на то, что по истечении двадцати пяти лет, а то и раньше, они могут получить помилование, могут выйти отсюда. И даже имеют право на физическую и психическую реабилитацию от государства, на помощь в адаптации в обществе.

Все нормально, гуманно. Только… только я не провел еще и получаса на территории спецучастка. И не рано ли мне делать основополагающие выводы? И я старательно смотрел по сторонам, расспрашивая своего провожатого. Вот в глазок смотрю на внутренности камеры. Двухместная, около двенадцати квадратных метров. С одной стороны двухъярусная железная кровать, застеленная, в общем-то, приличным шерстяным одеялом. У другой стены стол и два табурета. Садиться на кровать, а уж тем более ложиться на нее запрещено до официального отбоя. Небольшая перегородка, которая отделяет от общего помещения санузел. Умывальник.

– Сергей, а почему на окне, кроме решетки, еще и сетка? Одной решетки недостаточно?

– Достаточно, если говорить о возможности побега. Сетка нужна для того, чтобы заключенный сквозь решетку не дотянулся до стекла и не разбил его. Осколком стекла можно вскрыть себе вены, порезать сокамерника, ранить охранника. По этой причине камеры большую часть времени обесточены. Были случаи, когда заключенные оголяли провода и поражали током контролеров.

Я с сомнением посмотрел на Сергея. Его слова звучат как перестраховка. Неужели правда? А смысл? Ладно, если ударил охранника током, а потом сбежал. А вот просто так, ради удовольствия или из мести? Так его же здесь… А чего его здесь? Что ему могут сделать, куда его дальше и хуже могут запрятать? Ему что, новый срок впаяют за вновь совершенное преступление? Это в Америке изгаляются, осуждая на два, три пожизненных срока… Или я чего-то еще не понял, не ощутил? Не унять ли мне свой скепсис и не поверить ли на слово Сергею? Хотя бы потому, что я видел его глаза, когда он сидел передо мной и рассказывал. Глаза, знаете ли, не врут!

И я осматривал все, что было в коридорах, осматривал камеры. В конце мне показали четыре камеры штрафного изолятора, или ШИЗО, как их тут называют. Рассчитаны на двух человек; пятиметровые каменные мешки, которые другим словом и не назовешь. Рядом – шкафчики с особой одеждой специально для проштрафившихся. Если все смертники постоянно одеты в черную робу с большими буквами «ПЗ», означающими «пожизненное заключение», то в ШИЗО она меняется на ярко-оранжевую. Якобы эта альтернативная расцветка облегчает работу дежурной смене охраны. Ладно, им тут виднее…

И опять у меня в голове закрутились сравнения. И мысленно я обратился к господам ортодоксальным правозащитникам, которые «пиарятся» при малейшем удобном случае. Кто из вас служил в армии? Ах, служили? Тогда вспомните подробности своей службы. Подъем, зарядка, завтрак… Потом вы заняты до вечера: учебные занятия, хозяйственные работы, другие дела в зависимости от рода вашей службы. Потом короткое личное время. Вечерняя прогулка, помните? Строем и с песней по плацу. Вечерняя поверка и отбой. И так изо дня в день под строгим неусыпным контролем офицеров и старшины.

А здесь? Все то же самое, только труд у них необременительный и не каторжный. И в чем разница? Я помню, что утомительными для меня были первые шесть месяцев в «учебке»; ну, может, еще первые шесть месяцев на корабле. А потом-то я втянулся, и все пошло на автомате. Собственно, последние два года на этом автомате и проскочили. Ну да! У них не два и не три года должны проскочить на автомате. Им нужно лет двадцать пять продержаться. Не зря ли я в душе навесил у входа табличку из Данте?

Пожалуй, это были мои последние сомнения и позитивные мысли. Я прошел уже несколько дверей камер (кстати, пустых), пока не удосужился обратить внимание на таблички на дверях и прочитать их внимательно. От начала до конца. Я прочитал одну, вторую, третью… десятую… И мне стало страшно. Это нужно понять и хоть раз в жизни прочувствовать. Это сродни словам инструкции «не стой под грузом и стрелой». Попытайтесь постоять под краном, под многотонной железобетонной плитой, которая раскачивается над вашей головой. А вдруг что-то случится с тросом, а вдруг он изношен, а этого недоглядели? Жутко? Конечно. Такая громада расплющит вас, как таракана, в землю впечатает. А попробуйте постоять под тридцатиметровой плотиной, почувствовать страшнейший напор воды с той стороны, почувствовать то, что произойдет, если это бетонное сооружение сейчас не выдержит.

Что-то сродни этому вдруг ощутил и я. И все мои мыслишки и суждения мгновенно улетучились. И слова Сергея о том, что дежурная смена должна всегда помнить, кто именно сидит за этой дверью, не показались мне пустыми, не показались просто цитатой из правил или инструкций. Предупрежден – значит, вооружен. А предупреждение, точнее, напоминание, – вот оно, на дверях камер. Своего рода визитные карточки на каждого находящегося внутри смертника. Фотография, фамилия, имя, отчество, краткое описание преступления. Я шел и читал, а в моей голове громоздились обезображенные трупы, просто трупы и трупы расчлененные. Перед глазами проходили кадры взрывов бомб в людных местах, представлялись убийства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, изнасилованные и истерзанные девичьи тела. И толпы родственников, близких этих жертв.

Я уставился на Сергея и некоторое время молчал. А он, как будто понимая мое состояние, тоже молча смотрел на меня.

– И они все могут выйти через двадцать пять лет? – неестественным хриплым голосом спросил я.

– А вы приписочки видите? – поинтересовался Сергей и постучал пальцем по словам, написанным на карточках специально красным цветом.

Я видел. «Склонен к нападению на администрацию», «склонен к совершению побега», «склонен к суициду» и тому подобное. Наверное, я понял намек. Надеяться на милость государства может только тот, кто раскаялся, кто вел себя в рамках установленных правил и больше ничем не проявил своих преступных наклонностей. И на том спасибо.

– А красная буква «Д» наверху таблички означает, что данный заключенный сегодня дежурит. С его доклада «гражданину начальнику» начинается любое общение администрации с обитателями камеры. Дежурят они по очереди. Убирают камеры, отвечают за порядок в ней; ну и доклады, конечно.

Стены стали давить на меня еще сильнее. На редкой карточке не было красной приписки, а это означало, что львиная часть заключенных страшно опасна. И, наверное, потому, что для них человек с ключами – олицетворение всего того, что оторвало их от свободы и навечно швырнуло за эти стены, в этот каменный мешок. Поэтому вся ненависть, вся агрессия направлена именно на охранников, контролеров. Ни в коем случае не поворачиваться спиной? Пожалуй, понятно.

Мы зашли в «дежурку» напротив ШИЗО. На стене я увидел еще более шокирующий плакат. Фотографии заключенных, причем крупным планом. Это все, как мне объяснил Сергей,

склонные к агрессивным действиям. Самых опасных – не более десятка, но не надо обольщаться. Судя по красным надписям на карточках, почти каждый имеет какую-то порочную склонность, даже если еще не проявил ее за все время отсидки. Эти выводы администрация делает, изучив личное дело, результаты предварительного или судебного следствия, выводы психолога.

Кстати, о выводах психологов. Впечатление у меня от них опять появилось двоякое. С одной стороны, все-таки нужно верить в профессионализм специалистов, а с другой… Вот вам усредненный психологический портрет заключенного: «По характеру несколько замкнут, больше погружен в себя, пессимистичен, испытывает трудности в общении, чувствителен, раздражителен, склонен к аффективным реакциям, мнителен, тревожен, замкнут на чувствительном восприятии реальности, с пониженным, часто подавленным фоном настроения». А дальше еще интереснее: «Проявляется робость, неуверенность в себе, заниженная самооценка в сочетании с переоценкой значимости личных страданий, стремление избежать ответственности, осознания реальности в плане потворствования своим желаниям. Направленность личности – в основном стремление следовать общепринятым нормам поведения, приспособиться к среде, чтобы выжить».

Я еще раз всмотрелся в лица на фотографиях в «дежурке», вспомнил обстоятельства преступлений. Что-то мне в «робость» и «неуверенность в себе» верилось с большим трудом. Да еще помятуя статистику администрации. А она гласит, что количество трудновоспитуемых – 18, то есть около 10 % списочного состава осужденных. При этом на обычных условиях содержания сидит всего 7. Остальные 149 – на так называемом «строгаче». Таким не полагается поблажек, например, свиданий. Это суровое наказание, но не для всех. Более трети смертников вообще не поддерживает никаких контактов с близкими и родственниками. Вот так! Что я там сравнивал-то? С армией, только срок подольше? А они тут, по-моему, тихо сходят с ума, если полагать их нормальными до попадания сюда.

И это здесь, вот в этой конкретной колонии, конкретном спецучастке. Из разговоров с контролерами, с которыми меня познакомил Сергей, я понял, что здесь в самом деле почти рай, и понял, почему генерал Коновалов не пустил меня в другие колонии. Оказывается, есть у нас места, где условия на порядок жестче. Даже не жестче – более жестокие. Есть места, где заключенных-смертников заставляют передвигаться на корточках со скованными за спиной руками. На прогулку ведут с завязанными глазами или надевая на голову холщовый мешок. На

выходе из камер зэков обязательно встречают охранники со служебными овчарками, натасканными на людей в черных робах. И еще много чего мне рассказали. Но писать о том, чего не видел сам, не буду.

Для статьи мне нужно описывать то, что я увидел именно в этой колонии. А увидел я здесь прямо-таки очень мягкий режим. Неплохое трехразовое питание, наличие своего подсобного хозяйства со скотиной, библиотечные книги и телевизор, возможность побеседовать по душам со священником, право на переписку и даже на свидание с родственниками. Но это все равно неволя, где все, абсолютно все делается только по команде. Причем неволя, которую можно назвать вечной, в понимании отведенного каждому человеку жизненного срока. И в подавляющем большинстве. Этот вывод я сделал, когда узнал, что из 156 сидящих сейчас на спецучастке смертников условно-досрочное освобождение в обозримом будущем могут получить в виде исключения 1–2 человека. Остальные, как бы на словах они ни раскаялись, умрут здесь. Ничего, кроме стен этих коридоров, стен своих камер, они до самой смерти больше не увидят.

Рад я этому как простой гражданин, как рядовой обыватель? Наверное. Но как человек эмоциональный, как человек думающий, рассуждающий, человек, стремящийся к гармонии в этом мире, я уже начал сомневаться, что увиденное меня устраивает.

На следующий день, как и было мне обещано, я стал свидетелем того, как проходит среднестатистический, выражаясь административным языком, день для заключенных. В науке управления это называется «фотография рабочего дня». И вся столичная шелуха осыпалась с меня сразу.

Я стоял вместе с ребятами из дежурной смены. Тусклое дежурное освещение, тишина. И в этой тишине подкрадывалось незримое, но осязаемое, ощущаемое всей кожей. Я помнил себя молодым матросом, стоящим дневальным «на тумбочке». Шесть тридцать на часах. Сержант, дежурный по учебной роте, докурил сигарету и вошел с улицы, потирая красные от бессонной ночи глаза.

Здесь все было так же только схематически. Но на самом деле я чувствовал, что не заключенных сейчас будут поднимать, а разворошат гнойник, кучу гнилья, крысиное гнездо. И чувствовалось это по сосредоточенным усталым лицам дежурной смены. Печать привычки, как у ассенизаторов, которые давно уже принюхались и их не шокируют миазмы продукта, которым они призваны заниматься.

Резкая, холодная, бесстрастная команда «подъем». Мгновенно

врубилось все освещение. Затопали вдоль коридора шаги инспекторов-контролеров. За дверями стук, шорох, шуршание, невнятное бормотание. Звучит еще одна, изо дня в день повторяющаяся команда, и под бодрящую и опостылевшую музыку, льющуюся из радиоточки, началась физическая зарядка. Упражнения заучены и доведены до автоматизма.

Новая команда: «Закончили зарядку, наводим порядок в камерах!» Я с разрешения старшего смены хожу по коридору и заглядываю в глазки камер. Мне жутко, но я не могу оторваться. Люди-тени, люди-призраки только что на моих глазах махали руками, приседали, делали наклоны, махи ногами. У большинства лица мертвецов (иного сравнения мне сразу просто не подобрать) – бледные, припухшие со сна. Редкое лицо выражает хоть что-то привычное человеческое. Это как маски. Маска уныния, маска безразличия, маска душевной пустоты. Почти никто не разговаривает, почти никто не смотрит на соседа по камере. Каждый сам в себе. И хотя по камере ходит, как автомат, и наводит уборку дежурный «сиделец», остальные как-то машинально, с кажущейся неосознанностью тоже что-то делают по уборке.

Меня заставляет вздрогнуть очередная команда: «Закончили уборку, приготовились к завтраку». На откинутые решетки окошек в дверях камер со стуком ставятся металлические тарелки и кружки. Инспекторы проходят вдоль камер, из-за дверей – разноголосый гул приветствия. Заключенные обязаны поздороваться. Дежурные по камерам докладывают о наличии заключенных в камерах, представляются. В тарелки накладывается каша, наливается чай в кружки, и на какое-то время воцаряется тишина, нарушаемая только стуком ложек о тарелки.

Я стою посреди коридора, и меня просят посторониться. Я отхожу к стене между дверями камер, прижимаюсь к ней спиной и затылком. Да-а! Не этого я ждал, не это думал увидеть. А что? Я ждал увидеть людей, которые отбывают пожизненное заключение, и понял, что это какое-то абстрактное выражение, которое абсолютно ничего не объясняет, не описывает, не дает никакого представление о действительном. Это как выразить свое впечатление о картине, которую ты видел на выставке, словами, что она написана маслом. Козе понятно, что не салом!

Тут я увидел не людей. Черные тени – как привидения, черные копошащиеся зловещие фигуры, страшное нервное напряжение и тоскливую злобу, которая вот-вот прорвется душераздирающим воем. А ведь я еще не глядел им в глаза.

Этого я хотел по профессии и боялся чисто по-человечески.

Посмотреть им в глаза! В глаза убийцам, маньякам, насильникам, чьи злодеяния коробили общественное мнение, вызывали ужас в груди людей. Наказанием которым была однозначная изоляция от общества навечно. Навечно! Вот что ощущалось в атмосфере этих коридоров. И ведь не годы заключения их ждут, а десятилетия! Какое, оказывается, страшное это слово – «десятилетия»… Навеки.

Из задумчивого оцепенения меня вывели странные звуки. Слишком много шума, шагов, голосов. А, пришла новая смена. Доклады дежурных. Я с удивлением смотрю, что в коридоре стало очень много фигур в камуфляже, потом понимаю, что начинается проверка камер. Сергей вчера мне называл это «технической проверкой». Предупреждающая команда, и заключенные в камере отходят к дальней стене. Отпирается дверь, подается команда, и заключенные, которых называют инспекторы, по одному выходят в коридор и принимают специфическую унизительную позу у стены.

Знаменитая в этом мире поза «ку». Широко расставленные ноги, широко разведенные в стороны руки, запрокинутая голова, широко открытый рот. Проверка камер, проверка заключенных – все происходит одновременно. Ощупывание, заглядывание в рот. Я заметил, что инспекторы ведут себя как машины, и все одинаково. При осмотре камер кто-то обязательно находится внутри лицом к двери и почти в проеме. При обыске заключенных кто-то обязательно стоит чуть в стороне и лицом к ним – страхует своего товарища на случай нападения или иных нештатных ситуаций.

И никто не разговаривает с подопечными, никто не смотрит им в лица. Скорее смотрят сквозь них, так будет точнее. Вот заключенные, как я заметил, наоборот, стараются поймать глазами взгляд инспекторов. Напряженно, как-то просительно, с заискивающей недоброжелательностью. Может, мне это кажется. Насчет взглядов надо будет спросить, а вот напряжение ощущается дикое.

Я смотрю на инспекторов, на их действия, на выражения лиц. Движения быстрые, отработанные, но поразило меня другое. Все движения какие-то… незаконченные, что ли, с запасом. Похоже, что это постоянная готовность к нештатной ситуации. Мне пришла в голову дикая мысль. А что, если сейчас издать какой-нибудь громкий резкий звук? Грохнуть тарелкой о железную дверь или заорать… Идиотская мысль, но охранники наверняка среагируют мгновенно. Мгновенно и правильно.

Меня подмывает подойти ближе к тому месту, где возле очередной камеры происходит проверка. Я даже шевельнулся,

хотя мне строго-настрого запрещено подходить к заключенным. И тут я улавливаю ответное синхронное движение двух инспекторов неподалеку. Опаньки! Оказывается, ко мне тут тоже запрещено поворачиваться спиной. Эти двое ребят успевали контролировать ситуацию и в коридоре, и контролировать меня. Ясно! Кто его знает, этого приезжего журналиста, что у него там на уме. И кто их знает, какие распоряжения у них относительно меня самого. Нет уж, будем выполнять рекомендованное и не будем делать резких движений.

– Вопросы? – звучит периодически голос инспектора.

Голос одного из заключенных, наверное, дежурного по камере, отвечает об исправном состоянии оборудования камеры. Все, что я слышу, в смысле переговоров, звучит как два машинных голоса. Ни посторонних интонаций, ни эмоций. Сухо, казенно, ни одного лишнего слова. А ведь это, наверное, мучительно – сознавать, что с тобой изо дня в день на протяжении многих и многих лет разговаривают не только равнодушно. Даже так, как будто тебя нет, как будто инспектор разговаривает со стенкой. Наверное, это похуже, чем крики, угрозы, ругань, побои. Там хоть какие-то эмоции, а тут действительно ничего человеческого. Нет тебя, ты не человек. От этого можно сойти с ума. Или копить и копить злобу, которая нет-нет да и вырвется наружу во всплеске девиации. Или суицида.

Восемь часов десять минут. С сопровождающим я поднимаюсь по вчерашней лестнице на смотровую площадку над прогулочными двориками. Как раз начинается вывод на прогулку. Я облокачиваюсь на железное ограждение и смотрю вниз. Вчера, когда здесь было пусто, у меня возникали какие-то ассоциации с хищниками, которые будут ходить по клеткам внизу и злобно взрыкивать, пуская желтые хищные взгляды наверх. По одному, по двое появляются черные фигуры, захлопываются за ними решетчатые двери. Причем со вчерашнего дня я этого звука наслушался уже до тошноты. Этот характерный для железа лязг, наверное, тоже может свести с ума кого хочешь. Меня, например, уже аж передергивает.

Люди в черном не разговаривают между собой. Нет, вон кто-то перебросился парой фраз. Двое ходят, меряя шагами маленькую клетку. А вон тот уперся лбом в решетку, ухватился за нее руками и смотрит в небо. Или с такого расстояния мне кажется, или у него в самом деле побелели костяшки пальцев от того, с какой силой он сжимает толстые прутья. Привели еще одного. Идет как сомнамбула. Как только за ним захлопнулась решетчатая дверь, он сразу подошел к решетке, сполз по ней спиной, уселся прямо на потрескавшийся старый асфальт и

смотрит перед собой пустыми глазами. Понимает ли он, что его вывели на прогулку, воспринимает ли он вообще окружающий мир?

А вот интересный тип. Движения несколько дерганые, нервные, но он активен. Походил немного, глубоко вдыхая воздух. Теперь подошел к турнику и стал подтягиваться. Сильными рывками он подбрасывает тело к перекладине, на лице напряжение. От усилий или от сознания своего пребывания тут? Может, он тут недавно, еще не опустился, не согнулся. Или такой сильный характер, что не поддается характерному изменению психики. Я поворачиваюсь к охраннику и спрашиваю фамилию этого заключенного. Он называет.

Стоя наверху, я не замечаю, как пролетают полтора часа. Заключенных начинают возвращать в камеры. Я ходил с моим новым провожатым и наблюдал, делая пометки в блокноте. Жизнь смертников предстала передо мной как серая, казенная череда процедур. От подъема до отбоя я наблюдал весь их распорядок, включая обязательный медицинский обход, обед, обход администрации, прием по личным вопросам. И все монотонно, все казенно, все по часам и одними и теми же из года в год произносимыми фразами.

У меня уже в голове звенело от бесконечного повтора одних и тех же слов, только произносили их разные люди, разными голосами. Сухо, серо, без эмоций.

23 мая 2010 г.

20:25

…Я расскажу вам о первом «смертнике», с которым мне привелось побеседовать. Его звали Владимир Николаевич Вертянкин. Был он сухощав (хотя полных я тут и не видел), высок и все время потирал широкие ладони. Нас разделяли два ряда решетки и пространство между ними, где находился инспектор-контролер. Вертянкин сидел, чуть горбясь, на привинченном к полу табурете, его глаза бегали по мне.

Я не спешил с вопросами, потому что весь план беседы, который я себе составил, показался теперь неприемлемым. Я смотрел на смертника и пытался заново понять его только по глазам. Они у него горели энергией, жизнедеятельностью. Поначалу я подумал, что это какая-то форма помешательства, но потом изменил мнение. Смотрел на меня Вертянкин с какой-то надеждой. А еще в его взгляде я уловил некое выражение превосходства и бравады. И в то же время он искал… не сочувствия, нет. Это скорее потребность в диалоге, в слушателе. Что-то там у него рвалось изнутри наружу, оттого он и вел себя так суетливо, нетерпеливо.

История этого человека была проста. Москвич, отслужил срочную службу в десантных войсках, остался по контракту, окончил школу прапорщиков. Потом тяжелая травма, повреждение позвоночника и комиссия. На гражданке подвернулся старый приятель, который позвал работать к нему в приличную строительную фирму. Понахватался азов, стал бригадиром, потом прорабом. Дисциплину держал железную, план выполнял, сбоев на его участке никогда не было. Не воровал и другим не давал. Потом поступил заочно на строительный факультет.

Пришло время, и бывшего прапорщика оценили и повысили в должности до заместителя директора по строительству. Опыта было маловато, но на это есть главный инженер, а Вертянкина ценили за его командные качества и твердость характера. Начальство сквозь пальцы посматривало на то, что с работягами десантник бывал чрезмерно крут. Не все ЧП доходили до руководства, потому что бывший прапорщик зачастую разбирался сам и решал проблемы быстро и внутри коллектива.

Отметить повышение собрались в приличном кафе в узком кругу. Выпили, причем основательно. А потом, как это часто бывает, случайная ссора с такими же подвыпившими парнями, драка… И три трупа. Причем последнего он молотил еще долго

после того, как парень был уже мертв. А потом еще и сопротивление, оказанное милиции при задержании, потому что разъяренный и до умопомрачения пьяный бывший десантник так и не понял, что он натворил. И не просто сопротивление, а сломанная рука одного из милиционеров и легкое сотрясение мозга у другого.

Суд расценил, что Вертянкин социально опасен в своей агрессивности, особенно под действием алкоголя. Плюс активное сопротивление, приравниваемое к нападению на работников милиции во время исполнения ими служебного долга. А тут еще в СИЗО уголовники спровоцировали подсудимого, и он покалечил двоих прямо в камере…

Жизнь десантнику спасло только то, что следствие затянулось. Но подоспел указ Ельцина, и Вертянкину смертную казнь заменили на пожизненное заключение. И вот он сидит передо мной и строит планы на будущее. Охотно рассказывает, что отсидел пятнадцать лет, что готовится подать прошение о помиловании, что за хорошее поведение его обязательно выпустят. И как он все бросит и уедет в деревню, на лоно природы. Появилась у него здесь одна мечта, он уже очень много лет ее лелеет и вынашивает. Вертянкин мечтает стать фермером, трудиться на земле. За годы, проведенные на спецучастке, он изрисовал и исписал море бумаги. Есть у него и проекты строений, планировки, бизнес-план…

Я слушал, кивал, поддакивал. Все было бы хорошо с бывшим десантником Вертянкиным, во все это можно было бы поверить, если бы не одно маленькое «но». По мнению психологов, у него крайне неустойчивая психика, он обладает скрытой агрессией и все еще склонен к девиантному поведению. То, что здесь он никого еще не убил и не покалечил, ничего не значило. Вертянкин по-прежнему опасен для общества, и никто его никогда отсюда не выпустит. Он обречен. Это я понимал, потому что подробно о Вертянкине расспросил и инспекторов-контролеров, и штатного психолога.

Прежде чем я приведу рассказ заключенного о его житье-бытье на спецучастке, хотелось бы остановиться на своих впечатлениях от его образа. Зная историю жизни этого человека, я воочию увидел, как калечит место отбывания заключения для осужденных пожизненно. А ведь эта колония, как мне рассказали, не самая строгая и суровая. По сравнению с некоторыми тут просто пионерлагерь. Что же происходит с заключенными в тех колониях!..

Вот он сидит передо мной, то стискивая, то расправляя на колене свою форменную черную кепку. Нога закинута на ногу,

носок ботинка мерно и старательно покачивается. Это не привычка, это способ показать, продемонстрировать мне, что он уверен в себе, в своем будущем, что для него все это уже позади. Плохой физиономист, наверное, сказал бы, что это очень сильный человек. Он не сломался, не опустился, не свихнулся. Он выжил и легко адаптируется к прежней вольной жизни за стенами колонии.

Но при более пристальном рассмотрении становится ясно, что все не так. Этот человек болен психически. Он погрузился с головой в мир созданных им иллюзий и уже никогда не выйдет оттуда, если не поймет, что путь на волю ему заказан навечно. А вот когда узнает, произойдет страшное. Наверняка все закончится взрывом агрессии. И если, учитывая его десантную подготовку, его не убьют во время нападения на охранников, то он попадет на такой «строгач», что просто сойдет в короткое время с ума. От бешенства из-за крушения своих иллюзий, от безысходности. Люди с таким темпераментом тут не выживают. Они сгорают первыми.

Я помнил о трупах и покалеченных людях, которые остались в его прошлом. И понимал, что, выпусти его сейчас на свободу, он опять по пьянке сорвется. Даже в целях самообороны, даже защищая женщину от хулиганов, он не будет себя контролировать, не сможет. И дело снова кончится убийством или тяжкими телесными повреждениями. И поэтому я не испытывал особой жалости. Я был журналистом на работе, и мне нужно было понять, что они тут чувствуют, что творится у них в душе. Что это вообще такое – отбывать пожизненное заключение? Без этих нюансов картинка особой колонии, спецучастка будет неполной, незавершенной.

– …вы не представляете, Борис Михайлович (заключенный старательно обращался ко мне на «вы» и по имени-отчеству), насколько здесь становишься философом и чувствительным человеком. И сентиментальным, и чувствительным к чисто человеческому отношению. Ведь одно лишнее слово, один лишний взгляд сверхустава или инструкций – не знаю, что у них тут есть, – и на душе становится светлее. Ведь все тут живут в атмосфере безысходности, тоски. Вы не представляете, насколько эта атмосфера осязаема. И мы бы все посходили тут с ума, если бы охрана с нами вообще не разговаривала. Это надо понять, что такое общение с человеком оттуда, с воли. Теми, кто каждый день покидает эту территорию и едет в город, в свою квартиру, общается с такими же, как он, людьми… Троллейбусы, кинотеатры, магазины… и везде люди.

– Наверное, хорошо еще, что вас все время занимают какими-

то мероприятиями, – понимающе сказал я. – У вас ведь весь день расписан чуть ли не по минутам? Наверное, останься каждый надолго наедине с собой, и до умопомешательства недалеко?

– Ну, не то что по минутам, – вернулся к теме повествования Вертянкин, – но определенный режим есть. Это вы точно подметили, что нас не оставляют наедине с собой. В этих серых каменных стенах нельзя быть одному. Ну, про зарядку, завтрак я сказал. Потом прогулка. Выпускают по желанию, только не всех. Честно говоря, кто провинился, тем дорожка туда закрыта. – Заключенный на несколько секунд задумался. – Не знаю, что лучше: ходить на прогулки или не ходить. Это я не о себе, а о других. Я-то, понятно, форму соблюдаю, на турничке постоянно занимаюсь, гирьками опять же… А вот кто не понимает этого моего увлечения, тем, конечно, не в радость. Ведь серость везде, выматывающая душу. Опостылевшая серость камеры, та же серость прогулочного дворика. И решетки, решетки, решетки…

– Некоторые, я видел, просто сидят, некоторые бродят от стены к стене, – поддержал я тему.

– Вот я и говорю, – кивнул заключенный, – неизвестно, что лучше. Выйдешь, посмотришь на небо – и нахлынет на тебя. Тут ведь многие себе свой мир придумали. Вот в него и уходят, в себя уходят. Это уже, считай… извините, считайте, шаг к помешательству. Я ведь не зря сказал, что монотонность нашего бытия и скупость общения – чуть ли не самое страшное испытание. Вы представить себе не можете, насколько было бы легче, если бы на нас орали, обзывали… Ведь тогда было бы ощущение, что нами занимаются живые люди, а не бездушные автоматы. И что мы тоже живые люди, а не куклы заводные. Ни грубого окрика, ни каких-то интонаций. Монотонность, однообразие! Это порождает пустоту и тяжесть внутри. Вы слышали выражение «свинцовая тяжесть»? А мы ее испытываем на себе постоянно.

Я сидел, слушал заключенного-смертника и опять внутренне боролся с собой. Ведь, чтобы понять его, понять, чем и как они тут живут, я должен прочувствовать все это, погрузиться в их мир. А это, извините, уже попытка сострадать тем, кто приговорен к вечной изоляции от общества, кто отвергнут обществом навечно. Я ведь начну его сейчас жалеть; начну забывать, кто он такой, кто они все такие… Вот и балансируй на грани понимания и осуждения. Между прочим, когда он мне плакался взахлеб, у меня несколько раз чуть не срывалось, что он это заслужил. Что иначе-то как же? Ведь соверши он все это на полгодика раньше – и не сидеть ему передо мной, а лежать в яме со столбиком и номерочком на нем.

– А как отчаяние одолеет, – продолжал Вертянкин, – тут уже ничто не спасет. Люди в овощи превращаются, в растения. А ведь каждый хоть слабенький лучик надежды, а имеет. Что-то там изменится на воле, политика какая-нибудь… Может, амнистия, может, законы изменят. Глупо, конечно, но это от человека не зависит, он мечтает непроизвольно. Хорошо еще, что книги и радио дают какую-то моральную поддержку, но в основном каждый постепенно уходит во все это – ненастоящее, выдуманное, в придуманную реальность. Наверное, мозг человеческий так устроен, чтобы сопротивляться сумасшествию до последнего.

– А между собой в камерах или на прогулках вы общаетесь? Вот ведь и чисто человеческое общение, вот и возможность услышать нормальную речь.

– С кем? – очень искренне изумился Вертянкин.

И с этим невольным вопросом, который вырвался у заключенного, улетучилось и впечатление раскаяния, осознания содеянного. Как пот на спине летней рубашки во время жары, казалось, проступили агрессивность, пренебрежение, практически ненависть.

– Это же, – понизил Вертянкин голос, – это же нелюди. Тут нормальных-то и с десяток не наберешь. Таких, как я, которые по воле обстоятельств сюда попали. Большинство – бывшие маньяки.

– Почему бывшие? – не удержался я, хотя и зарекался вести разговоры на тему совершенных в прошлом преступлений.

– А потому, что они тут первыми в привидения превращаются, в тени. Чокаются, короче. Они и на воле, в той жизни не очень-то нормальными были, раз такое совершали, а тут… слизняки, короче. Да и сами они ни с кем не разговаривают. По-моему, они не очень-то уже соображают, где они и зачем. Эти обречены. Хотя… честно говоря, для таких расстрел был бы гуманнее, а тут они заживо умирают.

Я усмехнулся – правда, внутренне; на моем лице отражались только большой интерес и понимание. Себя он обреченным не считает; судя по интонациям, характеристикам, словоохотливости, он представляет себя чуть ли уже не полноправным членом общества. Спрашивать я его, конечно, не буду, но если спросить, то наверняка услышу нечто подобное, что был он пьян, что подонки довели, что государство виновато, которое его приемам рукопашного боя выучило… Тогда, перед тем разговором, да и во время него я твердо решил, что нет, не буду я спрашивать. Иначе разговор мгновенно уйдет в другую сторону, и назад его не вернуть. Для статьи мне нужны взгляд со стороны и взгляд изнутри на спецучасток, где содержатся приговоренные к пожизненному заключению. А исследование

потерянных душ в мои планы не входило. Тогда не входило…

– Знаете, когда занимаешься изо дня в день монотонной работой, то быстро учишься не думать о том, что делаешь. Руки сами всю работу выполняют автоматически, а в голове… Еще когда я первый год отбывал… Когда еще не понимал, что у меня есть шанс на помилование, ловил себя на мысли, что невольно подсчитываю, сколько осталось до конца месяца, до конца года… И знаете, как горько было сознавать, что это абсолютно ничего не значит для человека, для которого все это навсегда…

Вертянкин так тяжело и глубоко вздохнул, что все его большое костлявое тело приподнялось на табурете и снова опало. Как складной деревянный метр, были когда-то такие у мастеров. И опять я на короткий миг уловил в глазах осужденного мелькнувшие истинные чувства, которые он умышленно или неосознанно скрывает от окружающих, но которые не остались незамеченными психологом. Ненависть, затаенная злобная ненависть. К охранникам, как единственному физическому препятствию на пути к свободе? К судье, который вынес такой жестокий приговор? К государству, которое научило его убивать и калечить противника и, по его мнению, спровоцировало последствия той давнишней драки, которая закончилась тремя смертями? Понятно, что приписка красным цветом на двери камеры заключенного Вертянкина гласила о скрытой агрессивности, жестокости и других вещах, которые заставляют контролеров не поворачиваться к таким вот спиной.

– О чем еще думаю? О разном. Главное, чтобы мозг работал! Книгу прочитаешь, потом анализируешь сюжет, героев, описания там всякие, сцены… По радио новости слушаешь – тоже обдумываешь потом. Главное – о постороннем думать.

Заключенный вдруг замолчал, стиснув свою кепку большими ладонями и угрюмо уставившись в пол.

– Хотите честно? О чем многие тут думают, какая тут отдушина есть… Ночи многие ждут. Кто-то со страхом, но этих надолго не хватает – с катушек слетают. А вот многие – ждут. И я жду. Ведь отбой, ночь – это… Ложишься в постель, темно… можно с головой укрыться. И до утра ты свободен! Это твоя личная свобода, на которую никто не посягает. Твой мир, только твой. Там, под одеялом, ты можешь до утра мечтать, вспоминать, представлять… Ночью мы свободны! А утро многие ненавидят… Этот… крик «подъем», сразу свет врубают… в камерах кашляют, ворчат, матерятся тихонько. Возвращаемся в реальность… в действительность…

«Ольга Николаевна». Удивляюсь, уважаемый Борис Михайлович, как вы можете так спокойно об этом писать. Вы

журналист, вы просто обязаны бить в набат и будоражить общественное мнение. Судя по вашим описаниям, у преступника отнимают даже право на раскаяние. Знаете ли, как задумаешься, становится страшно жить в государстве, где такое является нормой! А ведь вы говорите, что есть колонии и пострашнее той, в которой побывали лично вы…

Расстрел – жестоко. А не жестоко держать (до конца жизни!) в условиях, которые фактически являются нескончаемой пыткой? Садистские позы, которые их заставляют систематически принимать, бессмысленные унизительные процедуры, отсутствие минимальных условий для выживания – это все считается оправданным? Необходимым? Там среди заключенных, наверное, есть и террористы, взрывавшие жилые дома, железные дороги, аэропорты. Я согласна, что на их руках – кровь невинных. И все же я настаиваю на мнении, что такому жестокому обращению не должно подвергаться ни одно живое существо.

Пожизненное заключение существует во многих государствах. Я много читала, видела фотографии. В средствах массовой информации я не нашла свидетельств того, что в какой-то высокоразвитой стране заключенных подвергают таким издевательствам и содержат в таких условиях. Я просто уверена, что моя позиция вызовет у многих возмущение: мол, ей легко рассуждать о гуманности, из ее близких никто не пострадал. Но речь-то идет не столько о преступниках, сколько о нас с вами, о том, что человеческое лицо теряет прежде всего тот, кто применяет жестокость. Из-за нашего легкого отношения к жестокости она захлестнула общество, и даже в правоохранительных органах применяются побои и пытки. Никто не властен отнимать у преступника право на раскаяние. А при таком обращении раскаяние невозможно, а возможна лишь ненависть к мучителям!

«Вечный студент». Это чистейшая политика, это хорошая мина при плохой игре. Надо было перед Западом лицо сохранить, вот мы формально и отменили смертную казнь. А чем ее заменили? Да нечем нам ее заменить, потому что к этой акции никто не готовился. И сейчас никто не собирается что-то менять. Зачем? Ради чего и кого? А по сути у нас пожизненное заключение – это та же казнь, но растянутая на десятилетия. Статья Бориса Рудакова производит шокирующее впечатление. Выходит, наша система пожизненного заключения состоит в постепенном умерщвлении осужденных или превращении их в бездушных роботов? Я понимаю, что для этой категории преступников заключение не является попыткой исправления. Для них это просто изоляция от общества. А выходит, что не

просто, а еще и с садизмом. А это бесчеловечно со стороны морали общества и бесчеловечно и в отношении преступников. Они ведь уже получили свою меру наказания – полную изоляцию от человеческого общества пожизненно. Но это не должно лишать их возможности раскаяния, возможно – духовного прозрения, осознания собственной вины. Хорошо было бы, правда, для сравнения полюбопытствовать, каковы условия содержания осужденных на пожизненное заключение в тюрьмах Европы или США. А вот если вспомнить собственный исторический опыт? В России в царские времена Шлиссельбургская крепость была политической тюрьмой с крайне суровым режимом. Заметьте, не уголовный элемент держали, а политических: заговорщиков, представляющих угрозу для строя, для власти. Осужденные сидели там подолгу. Однако те, кому удавалось выйти из крепости в силу разных обстоятельств, будь то помилование или смена власти в стране, отличались острым умом, жили на воле еще достаточно долго и даже писали мемуары. Есть о чем подумать, господа президент и премьер-министр?

«Педагог». Сразу скажу, что я за смертную казнь! За то, чтобы отнявший жизнь, способный на это, навсегда исчез с поверхности земли. Физически исчез. Это просто и понятно и, на мой взгляд, гуманно. Но правительство приняло такое решение, и я, как законопослушный гражданин, его принимаю. Кстати, когда вышли соответствующие указы Ельцина, мы сообща их очень активно обсуждали. В частности, муссировалось мнение о жестокости коммунистов, которые применяли такие негуманные методы наказания, как смертная казнь, заключение на сроки до 15–25 лет. Однако не следует считать, что сегодня мы объявили мораторий на смертную казнь и ввели пожизненное заключение как величайший акт гуманизма. Убийство от имени государства, от имени общества – это негуманно. А подвергать человека ежесекундным унижениям и пыткам на протяжении многих и многих лет, до самой смерти, – это гуманно?

Но коли возникла такая дискуссия, то я хочу заострить внимание еще вот на каких моментах. Я сейчас не буду призывать к смягчению условий заключения для этих вурдалаков. Речь вообще не о них. Речь-то ведь идет о нас с вами! Что мы приобрели, отменив смертную казнь? Много писалось и говорилось за всю советскую историю об изменениях в психике офицеров охраны лагерей. Помню даже интервью, покаяние штатного майора – палача из какой-то колонии, где он приводил в исполнение смертные приговоры. А где гарантия, что охранникам из этих лагерей через некоторое время не втемяшится поставить в позу «ку» каждого встречного? Или у

нынешних нервная система крепче? Сомневаюсь. Сомневаюсь и в том, что сотни и тысячи охранников в подобных спецучастках останутся здоровыми людьми.

Но дело даже и не в этом, потому что они добровольно выбрали эту профессию. Дело опять же в нас с вами. Предполагается, что мы должны радоваться. И акту гуманизма, и тому, что преступники понесли заслуженное наказание. Вспомните дело Чикатило и его казнь. Случившееся ни у кого не вызвало приступа энтузиазма. Одним садистом и убийцей стало меньше. Было и прошло, казнили и забыли. А эти-то живут, хоть и изолированы. И время от времени о себе напоминают. А гуманно ли это по отношению к обществу? Через 25 лет осужденный может быть помилован. Предположим, что дожил, что помиловали. И вот на свободу выходит физически и психически больной старик без средств к существованию. Что будем делать, гуманисты? Берем на полное государственное обеспечение? Как заслуженных ветеранов, как героев, политических деятелей? Жертва насильника, близкие родственники убитых исправно больше двадцати лет платили налоги, чтобы государство могло содержать в лагере убийцу своего отца или сына, насильника своей дочери, жены, сестры. А теперь эти же люди будут за свои деньги содержать его на воле?

Кстати, требования отмены смертной казни аргументировались, кроме всего прочего, еще и тем, что от рук палачей могут погибнуть невинные люди. Тем самым допускалась возможность судебной ошибки. Даже более того, эти ошибки как бы узаконивались на словах. Но разве, изменив форму наказания и сохранив при этом прежние судебные процедуры, мы снизили вероятность судебных ошибок? Очевидно, что нет. Допустим, что к пожизненному заключению приговорен невиновный. Но пока дети, родители, друзья и близкие, правозащитники докажут, что совершена ошибка, пройдет время. И как показывает опыт, пройдет очень много времени, годы. За это время в спецколонии человек уже станет психически неполноценным, его там сломают как личность. Докажут невиновность, а на свободу выйдет уже калека, не способный сам себя обслужить. Ну, что? Все радуются такому гуманизму?

Так что меня беспокоит прежде всего общество, которое пытается быть гуманным. Для исправления ситуации нужно кардинально изменить порядок рассмотрения «расстрельных» дел. Чем сложнее процедуры, тем ниже риск судебной ошибки. И если общество считает, что жизнь не мы дали, не нам и отнимать, то сознание, разум человеку дали тоже не мы, и не нам превращать людей в растения, проводя их по кругам ада. Просто

надо помнить, что высшая мера наказания – это не месть, не убийство, а высшая мера наказания. Всякий вурдалак, замышляющий отнять чью-то жизнь, должен просто знать, что он рискует своей.

– Простите, батюшка! – Я догнал священника уже на улице, когда он садился в старенькие «Жигули»-«шестерку». – Здравствуйте!

Из-под скуфьи на меня глянули усталые глаза пожилого человека. Священник тяжело выбрался из кабины и выжидательно посмотрел на меня. Мне как-то даже показалось, что он с неодобрением смерил взглядом мою крепкую фигуру, румяное сытое лицо и дорогую льняную летнюю «пару».

– Простите, что задержал, – переводя дыхание, снова сказал я. – Можно мне с вами поговорить? Я журналист, приехал из Москвы, чтобы написать статью о том, как у нас в стране содержатся приговоренные к пожизненному заключению.

Священник смотрел на меня без всякого выражения и терпеливо ждал, что последует за этой тирадой. Меня, честно говоря, несколько обескуражила эта реакция. Как мне сказали в администрации, отец Василий на протяжении многих лет по вторникам приезжал сюда и проводил весь день в беседах с заключенными. Учитывая такое самопожертвование, я рассчитывал как минимум на его симпатию и приветливость. Гм, как вам вообще нравится такой оборот – «неприветливый священник»? А я вот с такой странной реакцией тогда столкнулся нос к носу.

Наконец отец Василий понял, что продолжения не последует, и коротко спросил меня усталым голосом:

– О чем?

– Как… – растерялся я. – О заключенных.

– А что о них говорить? – пожал плечами священник. – Не говорить о них надо, а помогать им.

– Я как бы и приехал с намерением обратить общественное мнение на условия содержания приговоренных, – с нажимом стал я объяснять, несколько уязвленный, – на порядки, которые царят в таких вот колониях.

– Условия? – переспросил священник и посмотрел куда-то в сторону леса. – Условия тут обычные. И порядки обычные. Не в них дело, молодой человек.

Тут я понял, что меня еще удивляло. Священник говорил со мной обычным, светским языком, не таким, как у них принято. Он не называл меня «сын мой» или «чадо», не ссылался на волю господа и неисповедимость его путей, не говорил о милосердии, всепрощении. Пардон, он вообще ни о чем не говорил, а просто

искал способ от меня отделаться.

И я как-то сподобился понять, что это не от усталости после трудового праведного дня, не от того, что ему, может, просто нездоровится. Он был очень недоволен тем, что тут крутится журналист. Ему было неприятно, что приехал какой-то столичный писака, искатель жареных фактов и скандальных историй; что этого детину с сытой мордой интересует только он сам и его статьи. Ну и гонорары, естественно.

Мне стало смешно и грустно. И немного стыдно за свою профессию, потому что некоторые коллеги своими поступками и своим «творчеством» формируют вот такое примерно к нам – журналистам в частности и к прессе в целом – отношение. Я смотрел в глаза священнику и чувствовал, что меня «захлестывает». Есть у меня такой бзик: обязательно мне нужно доказывать, что я не такой, как все, что особенный. Иногда качество очень полезное, хотя из-за него я два раза вылетал с работы.

И я начал говорить. Говорить с жаром, отчаянно жестикулируя. Я очень старался быть убедительным, очень старался выглядеть не по годам умным. Я доказывал, что есть журналисты и есть… журналисты, что отсутствие информации – чуть ли не самое большое зло на земле. Я распинался об общественном сознании, о формах этого сознания, о гражданской позиции и…

И тут меня заткнули. Одним коротким вопросом, но задан он был с выражением такого искреннего сожаления на лице, что я сразу замолчал.

– Вы сколько уже здесь? – тихо спросил священник.

Вопрос был откровенно риторическим. Задан он был в такой момент и в такой форме, что любому идиоту на моем месте сразу стало бы ясно, в каком направлении начнет развиваться дальнейший разговор. А скорее, и не начнется. Напротив, тут же закономерно и предсказуемо завершится. Однако что-то мне подсказало, что иногда и на риторические вопросы стоит пробовать отвечать.

– Второй день, – пролепетал я, хотя старался придать своему голосу уверенности.

– Второй день, – вздохнул священник. – А я приехал сюда на второй день, как привезли первого смертника. И с тех пор каждый вторник и приезжаю.

– Так… это сколько же лет вы сюда ездите? Чуть ли не пятнадцать лет?

– Девятнадцать, – тихо сказал старик. – Пятнадцать лет назад сюда официально стали привозить для пожизненного заключения,

а до этого выделили спецучасток для тех, кто исполнения смертного приговора ожидал. Годы ждали. Каждый день ждали, что вот войдут и объявят, что завтра в шесть утра по решению такого-то суда за то-то и то-то приговор будет приведен в исполнение. Вот я их с тех пор к смерти и готовлю…

– Девятнадцать лет? – переспросил я неожиданно осипшим голосом. – Каждый вторник? И не разу не пропустили этого дня?

Глаза священника сделались очень больными и как будто совсем провалились в глазницы. Он опустил голову, вздохнул и снова посмотрел мне в глаза. Но теперь уже в них было мужество и терпение.

– Один раз пропустил я этот день. Приболел маленько… – Последовала пауза. – А на следующий день понял, что слабость допустил, большую ошибку сделал. Раз взвалил на себя такой груз, то нести его надо и когда температура сорок, и когда радикулит разобьет. Утром следующего дня я и приехал, но опоздал. Один заключенный той ночью в камере и повесился. Очень он меня во вторник ждал, очень я ему нужен был, – а опоздал. Теперь, конечно, не пропускаю.

Я вдруг осознал, что стою перед отцом Василием с глупейшим образом открытым ртом и вытаращенными глазами. Постарайтесь понять меня, в общем-то опытного журналиста. Как-то так получилось, что я практически не сталкивался по работе ни с кем из священнослужителей. Круговерть жизни подбрасывала все время иные темы для размышления, заказывали мне статьи тоже как-то на далекие от религии темы. Получилось так, что в жизни с настоящим священником я, собственно, ни разу вот так лицом к лицу и не сталкивался. А сейчас столкнулся. Да еще с человеком, который чуть ли не два десятка лет каждую неделю ездит в колонию для смертников, чтобы облегчить их участь… Меня, молодого, здорового физически и психически, на второй день уже трясти начало, а он старик. И девятнадцать лет! И тихо, незаметно делает свое дело так, как считает его нужным делать, как ему его совесть и вера велят. Ни шума не поднимает, не доказывает кому-то что-то. Просто ездит и облегчает душу.

– Простите, батюшка, – совсем уже другим голосом попросил я. Именно не сказал, а попросил. – Простите. Мне очень нужно поговорить с вами. Это ведь… ведь…

– Что, страшно? – понимающе спросил он.

Я кивнул.

– Как зовут-то тебя?

– Борис.

– Ну, садись тады, Борюша, – сказал отец Василий и снова полез в кабину.

У него это так хорошо получилось. И это деревенское «тады», которое я слышал в последний раз только от бабушки лет двадцать назад, и это простое обращение «Борюша». Так ко мне обращалась только мама в детстве. В отрочестве и юности я уже звался Борисом, а вот тогда в детстве…

25 мая 2010 г.

02:05

…Так я и познакомился с отцом Василием. Он привез меня к себе домой, и мы проговорили с ним весь вечер и половину ночи. Мне было очень неудобно втихаря включать диктофон, а просить разрешения записать наш разговор мне не хотелось. Он ведь по-человечески меня принял, пожалел меня, заблудшего, помочь решил в себе разобраться, в ситуации, в этих обреченных людях разобраться. А я полезу с интервью!

Я бы не удивился, если бы отец Василий оказался в прошлом, скажем, полковником ГРУ, или генералом ФСБ в отставке, который воевал в группе «Альфа», или кем-то в этом роде. По наивности, меня удивило это его отношение к преступникам. Была мысль, что он чувствует перед ними какую-то свою вину. Я написал «по наивности», потому что не сразу понял, да и не мог понять, что такое истинная вера и что такое истинная любовь к людям. А он по велению души и сердца – между прочим, не ставя в известность епархию, – взялся и делает свое дело так, как считает нужным.

Отец Василий рассказал, что в роду у него священников не было и что сам он принял сан, когда ему было за тридцать. Не очень он распространялся, что его подвигло на этот поступок, хотя я и пытался расспросить.

Интересный у нас разговор получался. Поначалу я чуть ли не каждой своей фразой сажал себя в лужу. А ведь отец Василий меня не поучал, не наставлял. Он просто немного ворчливо делился своими мыслями. Мы уговорили с ним поллитру водки под всякие домашние соленья, прежде чем отец Василий безапелляционно велел мне оставаться у него ночевать.

Помню, как я глубокомысленно соглашался со священником, что вера людям нужна, что им нужно помогать к ней приходить.

– Вот клюнет тебя жареный петух в одно место, так сразу и придешь, – отрезал отец Василий и опрокинул рюмку. Выдохнул, поковырялся вилкой в блюдце, подцепил кусочек малосольного кабачка и отправил в рот. – Можно в бога и не верить, а к людям все равно относиться по-человечески. А можно и верить, но отстраненно от мира. Тут, Борюша, другое надо. Надо, чтобы в тебе потребность открылась добро творить. Стараться помочь всем, до кого душа твоя дотянется, болеть за каждого, страдать. Я к вере-то давно пришел, а вот служить по-настоящему пошел, когда душа уже не терпела спокойно смотреть на мир вокруг. И когда я понял, что не могу иначе, что важнее нет дела, как людям

помогать, тогда вот… Любить надо.

Я старался подобрать слова, чтобы поддержать тему, но они никак не находились. Подворачивались все какие-то избитые заезженные фразы или насквозь фальшивые. И хорошо, что я не нашел тогда слов, потому что они были лишними, а отцу Василию хотелось выговориться. Ведь сколько страшных лет он наедине с собой сострадал этим людям в черных лагерных робах…

– Ты вот небось жену свою будущую очень любил, когда женихались-то? Это ведь обычное дело. Любовь, готов на все ради нее, всем пожертвовать, все отдать, только бы ей хорошо было. А к другим людям? То-то и оно. А в душе у человека ко всему миру, к каждому человеку, каждой травинке, букашке – такая же любовь должна быть. И с радостью должно созерцать на этот мир, потому как он совершенен. Вот только беда, что мы не совершенны; нет у нас любви к ближнему, более как к самому себе. Не можем мы принять страдания ближнего как свои страдания, боль чужую как свою боль…

Хмель уже прилично ударил мне в голову. Наверное, нервное напряжение последних дней сказывалось, а может, и то, что на голодный желудок пили. Что там из закуски-то – бутерброды, соленья да сало копченое… Я слушал, а сам пробовал полюбить этих убийц, маньяков, насильников, садистов, террористов. Какая там любовь, когда рядом с ними стоять страшно! Я вот сегодня долго беседовал через два ряда решетки с Вертянкиным. Он ведь не самый отъявленный злодей на спецучастке – и то я жалости к нему не ощутил. А уж любовь!.. А уж к остальным!.. И очень муторно мне стало от этих мыслей на душе.

– Страшно, – сказал я вслух.

– А знаешь почему? – тут же спросил отец Василий. – Потому что ты в них себя самого видишь.

– Как это?

– Да так. Понимаешь, что сам мог на их месте оказаться, только обстоятельства не сложились.

У меня, наверное, заметно вытянулось лицо, потому что священник очень внимательно посмотрел на меня, а потом усмехнулся и похлопал старческой желтоватой рукой по плечу.

– Я имею в виду, что гнева в тебе много, гордыни. Ты ведь тоже агрессивен, потому что нет у тебя любви ко всем людям, а только избранная любовь к некоторым. А коснись тебя ситуация, так и ты бы мог, особенно если пьяным будешь, в драке кого-нибудь убить. Ведь и трезвого, бывает, посещают мысли, что убил бы такого-сякого. Бывает аль нет?

Я кивнул, потому что отрицать было бы глупо.

– Я ведь не говорю, что ты на них на всех похож, – примирительно заметил отец Василий. – Я только хочу сказать, что нет в тебе любви к ближнему, потому тебе и страшно. Ты беседовал с кем-нибудь из заключенных?

– Да. С этим, Вертянкиным, который по пьянке в драке несколько человек убил.

– Вертянкин? – Отец Василий повесил голову. – Десантник бывший. Знаю. Это моя забота, я его последняя инстанция перед богом. А ты-ка лучше поговори вот с кем…

«Олег Михайлович». Вот не понимаю я вас, журналистов, вы уж простите меня, Борис Михайлович, за прямоту! Обязательно вам нужно священника приплести. Чего вы их путаете с нашей реальной жизнью? Оставьте им старушек и их храмы, а мы давайте проблемы нашего общества решать нашим обществом.

Ладно бы помолился он за кого, а тот и перевоспитался сразу. Так нет, ходит, ходит… Удовлетворение ему приносит, что ли, общение с этими выродками? Тут бы просто спросить хоть одного вот такого вселюбящего: «А как твой господь терпит такие злодеяния, которые они совершают?» Что-то мало утешает, что этого преступника муки в аду ждут после смерти. А вот то, что он сейчас, при жизни наказан так, что ему плохо, это уже радует. На то оно и наказание, что это прежде всего кара за содеянное. И чтобы другому неповадно было. Строго там, говорите? Еще строже надо, чтобы в ногах валялись, раскаивались, к мамке просились!

«ППБ». Простите, Борис Михайлович, но я сначала хотел бы ответить предыдущему комментатору. Я так понимаю по вашему тону, что спорить бесполезно. Тогда я просто предложу вам подумать и попытаться представить. Я вот как раз тот полковник ГРУ в отставке, на которого намекал Борис Михайлович, но не священник. Не священник потому, что слишком много приходится таскать на душе. Свои бы грехи отмолить, где уж там другим отпускать… Такие, как я, очень нужны любому государству, даже самому демократическому. Потому что у каждого государства есть тайны, которые надо сохранить, и есть тайны за рубежом, которые ему хочется узнать. А еще у каждого, пусть самого демократического государства, есть сферы интересов и влияний. И очень часто они находятся за много километров и тысяч километров от его границ. Это геополитика, это мировая экономика. Не будет государство играть в эти игры – и не быть ему самому. Я, понятно, намекаю на то, где мне приходилось бывать и чем заниматься. Мне сидеть бы рядом с этими людьми, о которых пишет господин Рудаков, только мне государство велело делать то, за что их-то и осудило.

И вот с этим грузом на плечах (а не за плечами, заметьте) я вам говорю – рождаемся мы все одинаковыми, а разными нас делает окружающий мир, в котором мы растем и живем. А этот мир, между прочим, населяют люди: вы, я, он… Сначала мы не пропускаем в дверях женщину, потом равнодушно смотрим на нищего калеку, потом нам наплевать, как два пьяных хулигана дубасят постороннего человека. А потом равнодушно смотрим на убийство. Добрыми бывают те, кого добрыми воспитали родители дома, кому попались добрые учителя в школе, добрые начальники и коллеги на работе. Вы вот считаете себя тем самым добрым человеком, которыми должны быть все вокруг? Или вы из тех, кто является сторонником очищения земли от всяких… кто вам лично не нравится? Это мы уже проходили. По истории.

«Вера Павловна». Господа, господа! Ну нельзя же так, нельзя же кидаться из крайности в крайность. Или всеобъемлющая любовь, или предельная нетерпимость. Ведь должен же быть в мире баланс. Баланс добра и необходимого зла. Зло потому и существует в природе, чтобы человек не превратился в овощ. Цинично, конечно, вспоминать про щуку, которая нужна, чтобы караси не дремали, но это ведь диалектика природы. Если мы будем добренькими, то нас сожрут те самые вурдалаки и вампиры. Создайте им тепличные условия в колониях, и о каком раскаянии пойдет речь? Покаяние всегда приходит через страдания. Я в этом убеждена.

И опять утро, и опять я на спецучастке для содержания осужденных к пожизненному заключению. Скоро подъем, скоро я увижу во второй уже раз угрюмые, потухшие, безразличные, заискивающе бегающие и откровенно бессмысленные глаза. Всякие, разные… От этих глаз, от обстановки общего напряжения становится тяжко на душе. Как вчера отец Василий выразился – «тяжек там воздух». И когда вспоминаешь, за что сюда собрали их всех, когда вспоминаешь самые главные пункты инструкции, особенно тот, запрещающий поворачиваться к заключенным спиной, то становится просто страшно.

Где-то глубоко в душе нет-нет да и шевельнется маленький перепуганный червячок-обыватель. Чего мучиться-то, чего трястись? Уничтожить весь этот гадючник разом, и все. И живи потом не боясь… не боясь поворачиваться спиной. Но с червячками общество научилось бороться, и большинство людей – тоже. И если на его перепуганные писки не обращать внимания, то можно услышать и тревожный гул, который раздается оттуда же, из глубины души.

Я его ощущать и слышать стал не сразу. Но когда прислушался к себе, когда полез в Интернет, то понял, что это

большая проблема. Проблема не государства, не юридическая проблема, не политический акт. Это проблема каждого отдельно взятого человека, морально-этическая, ибо по морали отдельных людей мы и судим о морали общества в целом. Это проблема, потому что нет единодушного мнения, потому что одна часть общества требует казнить, казнить и казнить, а другая – протестует и считает, что нет у нас права отнимать жизнь. Последнее радует, потому что это признак возрождения духовности. Но есть и третья часть, которой глубоко наплевать, что там с ними делают. Стреляют их или гноят в камерах до конца дней своих. Главное, что общество от них ограждено. И вот это пугает больше всего, потому что это – брезгливое равнодушие, мнение не людей, а того самого червячка-обывателя, который разросся до огромных размеров, завладел разумом, сожрал внутри человека все, что делало его добрым, человеколюбивым, милосердным.

И я стоял у стенки, ходил по пятам за контролерами, торчал у перил на смотровой площадке над прогулочным двориком. И смотрел на них. Честно скажу, я пытался вызвать в себе жалость, полюбить их как себе подобных, но заблудших. Но видел я перед собой только нечто омерзительное, шевелящееся, не так давно стряхнувшее с лап и клыков чужую кровь и плоть, утробно урчащее и переваривающее пожранное. Не мог я отстраненно думать о жертвах и о преступниках. А когда для проверки своего морального состояния я представил в руках автомат, то понял, что готов сам стрелять в них, уничтожать их. Помнится, я тогда с удивлением посмотрел на свои ладони, в которых ничего не было.

Тогда я отправился к стене корпуса, где углом стояли две лавки и был вкопан бак под окурки – стандартная курилка. Я смолил сигарету за сигаретой и ходил кругами, я не мог сидеть, мои руки ни на секунду не оставались в покое. Вот она, проблема! Не там, за проволокой, решеткой и стальными дверями. Она здесь, она нервно курит, мучается, психует и нарезает круги вокруг урны с окурками. Это я, не созревший духовно, не выросший до размеров человека высокой морали. Это я готов уничтожать их, злорадствующий, что они страдают физически и душевно, а не просто умерли. Это мне плевать на то, что психически страдают те, кто их тут охраняет. Это мне плевать на причины, которые сделали из обычного человека убийцу, маньяка, насильника.

И когда я немного разложил в своей голове все по полочкам, то уселся и стал думать. Я смотрю на них третий день, а инспекторы-контролеры смотрят годами, а про отца Василия я

вообще молчу. Может, не надо смотреть на оболочку, а копнуть глубже? Надо еще поговорить с ребятамииз дежурной смены. И с теми заключенными, про которых сказал отец Василий. Не зря ведь он посоветовал.

А ведь как раскусил-то меня вчера старый священник! Как он сказал? «Сам мог на их месте оказаться, только обстоятельства не сложились»? Гордыня, агрессивность. Да, я себя ставлю выше их, я их презираю, а отец Василий считает их за людей. Да еще за людей, заслуживающих сострадания, милосердия, любви, потому что они такие же творения божие, как и все мы остальные. А я готов давить их. Потому что я нетерпим, потому что я, честно говоря, не дурак подраться. И дрался в жизни не раз. И в любой из драк мог… Вот так-то!

Артур, так назовем парня, был самым молодым в смене. И был он большим любителем почитать, поговорить о прочитанном, вообще имел склонность к философии. И я не перебивал его, с интересом слушал точку зрения относительно молодого человека, который несколько лет общается, контактирует вплотную со смертниками. Вещи он говорил интересные, хотя суждения его были несколько инфантильными.

– И еще. Вот вы говорите о западных тюрьмах, о западной гуманности. А, интересно, как бы сейчас отнеслись гражданеВеликобритании к предложению заменить смертную казнь Джеку-Потрошителю пожизненным заключением? – Я промолчал, давая возможность Артуру самому ответить на этот вопрос. Однако парень блистал не столько выводами, сколько констатацией фактов, полагая, что они сами по себе многое значат и о многом говорят. – Я считаю, что вопрос о смертной казни вообще выходит за пределы человеческой морали. Можно ли считать людьми тех особей, которые наслаждаются, расчленяя себе подобных? Может, именно истребление таких индивидуумов и есть один из биологических законов сохранения популяции. Ведь, по-моему, это уже не люди. Не потому, что они за время пребывания у нас потеряли человеческий облик, а потому, что совершили преступление, не имея этого облика.

– Тогда бы в обществе сразу заметили, что они отличаются, что они опасны, – возразил я. – Чикатило вон ни у кого много лет не вызывал подозрений, а ведь вурдалак настоящий.

Очень интересный разговор у меня произошел с начальником дежурной смены. Хотя бы потому, что он оперировал местной статистикой и видел ситуацию немного со стороны. Какой-никакой, а начальник.

– Если посчитать, то у нас на каждого осужденного в среднем приходится по три загубленные жизни. Больше всего жертв на

счету террориста. 49 человек. Он один из тех, кто в 2004-м взрывал столичную подземку. Сначала на перегоне между «Автозаводской» и «Павелецкой», полгода спустя – на выходе из станции «Рижская». Семеро осужденных относятся к категории маньяков, девятнадцать официально считаются серийными убийцами. – Поняв правильно мой взгляд, начальник смены рассмеялся. – Бывают парадоксы. Каждый зэк на самом деле – загадка. Что творится у кого из них в душе, понять невозможно годами. Между прочим, террористы, на счету которых десятки трупов, хлопот администрации не доставляют вообще. Видимо, сказывается то, что они приучены к дисциплине и исполнительности еще в бандитском подполье.

– А кто больше доставляет хлопот?

– Больше всего неприятностей доставляют те, кто в обычной жизни старался быть серым и незаметным. Есть у нас один, который в 90-х убил в Москве и Подмосковье 18 мужчин и женщин. На контакт шел неохотно, лукавил, изворачивался.

– Скажите, а почему администрация спецучастка разрешает беседовать не с каждым осужденным? – задал я провокационный вопрос.

Начальник смены посмотрел на меня как-то странно и усмехнулся.

– Тут много причин… – наконец ответил он и опять замялся.

– Инструкции, – кивнул я понимающе. – Что написано пером, то не вырубишь топором.

– Ну, они тоже не с потолка писаны! К террористам доступ только с ведома ФСБ. А что касается остальных, то тут нашему штатному психологу виднее. Сегодня вы с ним побеседуете, а завтра он в петлю голову сунет. Тут дело в психике… хотя скажу по секрету, что и руководство со своими интересами замешано. Кто-то за идиота может сойти по причине собственной некоммуникабельности, зажатости, а то и крайне невысокого интеллекта. В сочетании с расшатанной психикой картина будет полной. Зачем такая слава по стране?

– А кто наиболее общительный, кто охотно идет на интервью?

– Наиболее общительные те, кто с высшим образованием, бывшие военные, менты.

– Понятно. А, скажите, на ваш взгляд, есть польза от визитов к осужденным отца Василия?

– Ох ты! – закрутил головой начальник смены. – Ну, вы спрашиваете! Тут в душу-то каждому не залезешь, а видимость… она разная бывает. Кого-то мы, конечно, как облупленного знаем, а кого… Тут ведь какая ситуация – с одной стороны, многие заключенные верующие, а с другой стороны, как я думаю, они

считают себя верующими. А может, в большинстве случаев они специально стараются казаться верующими. Мы считаем, что общение со священником или посещение местного храма – это способ хоть как-то разнообразить собственное существование. Выпусти многих таких истово верующих на волю, и куда вся их вера денется? Большинство же за старое возьмется.

– А как часто у вас происходят попытки суицида?

– Я тут работаю уже девять лет, – пожал плечами начальник смены, – при мне только один случай был. А вообще, как у нас считается, попытка покончить с собой – первая реакция психики на изменение среды обитания. Полтора-два года, а потом они привыкают к новой обстановке, адаптируются. Я, например, часто слышу, что, мол, хоть такая, а жизнь. Что бы там ни говорили, а мне кажется, что у них со временем приходит и полное осознание содеянного. Понимаете, просидеть много-много лет и не надеяться выйти – тут поневоле задумаешься о причинах, о том, что сам виноват. И тогда, кстати, многие начинают терять человеческий облик, медленно превращаются в растения. Может, поэтому среди тех, кто долго сидит, по пальцам можно пересчитать тех, которые вообще могут связно формулировать свои мысли.

Я задавал заранее подготовленные вопросы и ловил себя на мысли, что тяну время. Мне и хочется, и одновременно не хочется беседовать с осужденным. По большому счету, для статьи эта беседа была не особенно нужна. А нужна она была лично мне, для понимания того, что спецучасток делает с человеком. И не просто с человеком, а с тем, кто совершил тяжкое преступление. О том, что он собой представлял как личность в прошлом, я догадывался. А вот что он собой представляет сейчас? Тем более что отец Василий мне порекомендовал побеседовать с троими, но не объяснил, почему именно с ними.

И вот пришло время, и я опять в клетке, а через два ряда прутьев передо мной осужденный, которого я назову, скажем, Алексей Сиротин. Этот человек за год изнасиловал и убил двенадцать женщин со светлыми волосами. Тот, кого называют маньяками. Психиатрическая экспертиза признала его нормальным, а совершал он свои преступления потому, что первый случай прошел безнаказанно. Точнее, была у него психологическая травма, связанная с женщиной определенного типа, и как-то очень похожую он изнасиловал, а потом испугался ответственности и убил. И потом вошел во вкус, почувствовал себя всемогущим, мстящим женщинам за нанесенный ему когда-то позор, унижение. И стал совершать это все чаще и чаще.

Сейчас он сидел передо мной после шестнадцати лет,

проведенных здесь. Щупленький, с реденькими светлыми волосами и пронзительными глазами, смотрящими мимо меня куда-то вдаль. На лице не то улыбка, не то оскал, не то судорога.

– Скажите, Алексей, – начал я, – о чем вы со своими сокамерниками разговариваете по вечерам, когда у вас наступает личное время?

Сиротин сделал ныряющее движение головой и судорожно сглотнул слюну.

– Мы читаем книги, слушаем радио, – с готовностью ответил он высоким надтреснутым голосом. – Содержание хорошее, претензий к администрации нет.

– Вы не поняли, – постарался я придать голосу максимум теплоты. – Я журналист, пишу статью о вашем спецучастке, об осужденных, которые здесь содержатся.

– В содеянном раскаиваюсь, – быстро ответил Сиротин, и по его лицу в самом деле пробежала судорога. – Господь Бог нас не оставит, он всех нас любит и спасет. Он милостив, он всемогущ…

– Алексей! Сиротин! – окликнул я заключенного. – Посмотрите вы на меня! Я просто журналист, я просто хочу с вами поговорить. Вы же сами согласились на интервью со мной.

– Да, я согласен, – как-то болезненно улыбнулся Сиротин.

– Вы сколько лет здесь отсидели?

– Я отсидел… – со странной интонацией сказал Сиротин. – Я понес заслуженное наказание, я…

По лицу зэка снова пробежала судорога, а потом из глаз полились слезы. Безвольно лежавшие на коленях руки дернулись было к лицу, но остались на месте. А лицо корчилось в спазмах беззвучных рыданий. А сквозь них пробивались отдельные несвязанные слова:

– Дяденька милиционер… я больше так не буду, отпустите меня… домой… мама, забери меня, пожалуйста, я домой хочу… Я боюсь тут… один…

Я с ужасом смотрел на него. Каким-то краем сознания я вспоминал, что зэки частенько грешат тем, что разыгрывают истерики, помешательства. Но то, что я сейчас видел, не могло быть игрой. Это было самое настоящее помешательство, реальный мир подменился иллюзией детства. Слабенькая натурка, которая сидела внутри преступника, наконец через страдания пробилась наверх и овладела им полностью.

Инспектор, который находился между нами, строго приказал мне прекратить беседу и нажал какую-то кнопку. Наверное, от привычной интонации, которой был сделан предназначенный мне приказ, Сиротин мгновенно весь собрался. Какое-то неуловимое изменение произошло во всем: и в позе, и в выражении лица.

Передо мной был человек, полный готовности беспрекословно выполнить любое требование. Только в его глазах, которые широко раскрылись и смотрели прямо на меня, стояла такая мольба, такой детский ужас, такая затаенная тоска, что у меня комок подкатился к горлу. Он встал там, огромный, живой, – и ни вздохнуть, ни выдохнуть. Я смотрел в глаза Сиротина и не мог отвести взгляда. Еще минута, полминуты… внутри у меня вместе с комком все перевернулось, сжалось, скрючилось ноющей болью где-то под ложечкой. Если бы не подбежавшие контролеры, которые быстро подняли заключенного и вывели из-за решетки, я не знаю, в каком бы состоянии сам вышел оттуда в коридор.

Все! Этот кончился. Наверное, отец Василий чувствовал, что Сиротин на грани сумасшествия; может, он поэтому и хотел, чтобы я с ним побеседовал, надеясь, что разговор со свежим человеком «с воли» добавит осужденному свежей струи жизни. А может, священник не почувствовал, может, пришло время – и сломалось внутри у Сиротина все. Лопнула последняя ниточка, которая связывала остатки его сознания, психики с реальным миром. И он неумолимо погрузился в небытие тихого помешательства. И с ним он теперь и уйдет в мир иной. А у охранников-то как все отработано, как глаз наметан…

Я выкурил сигарету в три затяжки и ничего не почувствовал. Как воздух вдыхал. Закурил еще одну и теперь уже почувствовал на языке горечь. Спокойно, журналист, спокойно. Сам же декларировал, что ты солдат средств массовой информации, что обязан быть на переднем крае… Вот он, передний край.

Как там испокон веков на войне? Лихие атаки, развевающиеся знамена, генералы впереди солдатских шеренг на белых конях. Фанфары! Да, а есть еще санитарные обозы и полевые лазареты. Есть тазы с грязным окровавленным перевязочным материалом и ампутированными почерневшими конечностями. Истошные вопли раненых, оперируемых без наркоза, падающие в обморок сестры милосердия из дворяночек. А еще – вонища, грязь, гной, пот, кровь, кал, моча… Вот и здесь так же.

Не знаю, почему в моем представлении возникли образы именно армии и войны семнадцатого-восемнадцатого веков. Наверное, потому, что в те времена очень большое внимание уделялось красоте мундиров, так сказать, парадному фасаду. Вот и я несколько дней назад стоял перед парадным фасадом нашего общества. Современное, передовое, активно интегрирующееся в мировую демократию, уверенно идущее по пути гуманизации. А что там остается в кюветах и на обочинах вдоль этой светлой дороги? А вот это и остается. Вот и иди, журналист, иди,

обнаженный нерв общественной совести. Иди посмотри, составь собственное мнение, а потом донеси до людей.

Я демонстративно медленными затяжками докурил сигарету и неторопливо отправился к начальнику смены для того, чтобы мне вывели второго согласившегося на интервью осужденного.

Этот человек, видимо, был когда-то крепким парнем со спортивной фигурой. Сейчас передо мной сидела несуразная нескладная фигура с землистым заострившимся лицом. Робу ему до сих пор выдают того размера, который ему определили в момент доставки сюда четырнадцать лет назад. Сейчас этот примерно пятьдесят второй размер висел на нем, как на вешалке. Глаза сосредоточенные, темные, только направлены они в себя, внутрь. От этого и взгляд странно-внимательный и невидящий одновременно.

Петр Лупонин, бывший милиционер патрульно-постовой службы одного из областных центров. Из личного дела я почерпнул, что еще до совершенного преступления Лупонин грешил избиениями задержанных, а еще тем, что обирал пьяных, прежде чем отправлять их в вытрезвитель. А потом с двумя гражданскими дружками они зашли совсем далеко: в 1994-м, по пьяной лавочке, совершили разбойное нападение с убийством трех человек.

О преступлении я его не расспрашивал, он сам неожиданно стал говорить о прошлом. Даже с какой-то охотой, как будто обрадовался лишнему поводу исповедоваться. А может, решил продемонстрировать всю степень раскаяния. По его словам, разбой они не готовили специально; все произошло стихийно, сумбурно. Просто шли по улице, разгоряченные алкоголем, – агрессивные, неудовлетворенные, переполненные чувством превосходства и уверенные в безнаказанности. Здоровенные спортивные парни, да еще в компании с другом-милиционером. Не буду рассказывать, кого и как они там грабили; главное, что преступление милиция раскрыла, как это у них называется, «по горячим следам». Остановлюсь просто на одном моменте: двоих они убили в запале, сгоряча, а вот третьего – как опасного свидетеля, то есть вполне осознанно и умышленно. С целью сокрытия следов преступления.

За решеткой Петр с 1994 года, на спецучастке с 96-го, после того как расстрельный приговор указом Ельцина был заменен пожизненным лишением свободы. И, как мне рассказали в администрации, постоянно демонстрирует раскаяние, лояльность, готовность взяться за любую работу. Хотя и так шьет рукавицы в две смены. И тем не менее я не обольщался, потому что помнил приписку красным на его «визитке» на двери камеры.

Там говорилось о скрытой агрессии и склонности к суициду. И это при том, что ни одного акта неповиновения или агрессии в отношении к контролерам он ни разу не проявил и ни одной попытки покончить с собой тоже не совершил. А вот отношения с сокамерниками у него, как мне сказали, сложные. Никакого контакта даже близко.

Я все это помнил, но решил, что откровенность и желание контактировать со мной позволяют задать Петру несколько вопросов, на которые я бы не решился в беседе с предыдущими интервьюируемыми.

– Я понимаю, что здесь вам очень трудно, Петр. Здесь всем трудно, но все-таки это жизнь. Что вам помогает держаться, справляться с трудностями? И что самое тяжелое здесь для вас?

Я понимал, что поставил вопрос слишком размыто, обширно. Но я надеялся именно такой формой постановки вопроса расшевелить осужденного еще больше, вызвать на рассуждения, раскрыться передо мной.

– В бога уверовал, – с готовностью ответил Лупонин. – Вы можете не поверить, думаете, что убийца, – и на тебе! А вот так и есть. Это единственное, что помогает жить. И не просто жить, не просто существовать, а наполняет жизнь содержанием, смыслом. Вы же не представляете, насколько тут бессмысленное существование. Без надежды, без будущего! Жить и понимать, что ни с годами, ни с десятилетиями для тебя ничего не изменится. Только твоя камера, только этот коридор, только небо через решетку на прогулках, только стрекот швейной машинки… И так до самой смерти. А жить-то надо еще чем-то.

Я хотел было вставить ободряющую фразу, поддержать форму беседы, но что-то меня удержало. Может, ощущение, что Лупонин разговаривает не со мной, а с самим собой.

– Я тут четырнадцать лет, до сих пор не могу привыкнуть к монотонности и однообразию. Тут и так режим тяжелый, но монотонность заведенного бездушного механизма сводит с ума. Никогда я раньше не задумывался, что максимальное ограничение свободы так страшно. Передвижение только под конвоем, постоянное наблюдение за тобой через специальное окошко, распорядок дня только по команде. И все повторяется изо дня в день, из года в год с точностью до минуты. И ты начинаешь от всего этого тихо сходить с ума. Трудно описать словами, чего стоит сопротивляться помешательству.

– Но вы считаете, что вам удается?

– Удается, если рассчитывать не на эмоции, а на разум. Эмоциям ни в коем случае нельзя давать волю. А разум, рассуждение о боге помогают. Только рассуждать приходится с

самим собой. К нам по вторникам приезжает священник, отец Василий, и я каждый вторник с ним беседую. Но он судит о боге с точки зрения официальной религии, а у меня сложилось свое мнение. Но об этом я ни с кем не говорю, только с собой.

– И даже со своим сокамерником?

– Эта тема, знаете ли, очень острая. Мой сокамерник очень религиозен, и о религии я предпочитаю с ним вообще не разговаривать.

– Почему? Не находите общего языка?

– Потому что это обязательно приведет к ссоре или какому-нибудь бессмысленному спору. Это ведь все глубоко личное, интимное, а спорить о личном смысла нет.

Говорил Петр хорошо, осмысленно. Чувствовалось, что ему очень надо выговориться, и я ему не мешал. Больше старался понять, насколько глубоки в нем изменения личности. Я не брался ставить под сомнение вердикт местного психолога, но ощущение, что мой собеседник создает впечатление в общем-то нормального человека, у меня было.Но только ощущение, а не уверенность.

И все-таки я потом понял, что психические изменения уже очень глубоки. Если когда-нибудь Лупонина выпустят на свободу, если его даже завтра выпустят на свободу, то этому человеку потребуется длительная и кропотливая психологическая реабилитация. Четырнадцать лет, проведенных на спецучастке, проехались по нему как бульдозер, оставляя страшные незаживающие раны. Я бы так сказал, что Лупонин раскаялся в содеянном практически сразу, на стадии суда. Но его беда в том, что он за эти годы сжился с мыслью, что раскаяние – уже есть основание для помилования. А его не милуют, его не понимают, его продолжают держать тут. И в нем копится обида, что его не понимают, что его тут держат теперь уже необоснованно, без учета чистосердечного раскаяния, без учета того, что он исправился.

– А еще давит общественное мнение! – с болью в голосе говорил Петр, и на его глазах навернулись слезы. – Считается, что все пожизненно осужденные – это гады, сволочи, что так им и надо! А ведь среди нас есть люди, которые в будущем могут считаться законопослушными гражданами, стремятся стать такими. А нас не понимают. Я из кожи лезу, чтобы доказать это. Я потому с вами встретиться согласился, что вы расскажете обо мне. Об этом ведь не рассказывать, об этом кричать надо! Это же невыносимо – сидеть тут с разными…

И опять про свой мирок, про ночь и постель, где ты свободен до утра. И опять про работу в две смены, чтобы хоть там не

слышать команд, не видеть опостылевших стен камеры, опостылевшего сокамерника. Шьешь и шьешь. И думаешь, что вот эти рукавицы вывезут отсюда на волю. И они попадут на склады, в магазины. Их будут покупать там, на свободе, люди, будут делать в домах ремонты. И с этими рукавицами как будто частичка души вырывается за высокий забор, сквозь колючую проволоку на волю, на свободу, в мир людей.

В девять вечера из своего гостиничного номера я позвонил в Москву Ревенко. Так долго, до позднего вечера, я тянул не потому, что серьезно и обстоятельно поговорить с главным редактором популярного издания и своим шефом в рабочее время не удастся. Такие люди на таких должностях и в девять вечера обычно бывают заняты. Не в кабинете, так на ином мероприятии за пределами издательства, на каком-нибудь банкете или вечеринке у нужных людей. Просто я знал, что Андрей меня не поймет, предложения не оценит и запретит заниматься этим за казенный счет. Мой шеф очень четко видит перспективу и умеет считать деньги. И я до самого вечера продумывал, как и что я ему буду говорить.

Андрей оказался дома.

– Здорово, – благодушно приветствовал он меня. – Ты чего там застрял? Темка-то пустяковая, а ты валандаешься уже сколько дней…

– Не все так просто, Андрей, – осторожно возразил я.

– Что, проблемы с местной администрацией?

– Нет, тут все нормально. Принимают как родного, во всем идут навстречу, обедами кормят… У меня грандиозное предложение, ты только выслушай меня.

– Ну, валяй, что ты там такое придумал.

– Видишь ли, Андрей, я перед отъездом порылся в Интернете, да и здесь вечерами тоже копался основательно. И я понял, что данная проблема очень острая, горячо обсуждаемая и насущная. Я бы сказал, что это возрастная проблема нашего социума, как детская болезнь, которой обязательно нужно переболеть. Как корь или ветрянка.

– У нас дети еще болеют корью? – задумчиво спросил Андрей.

Я привык к его манерам и понял, что этот вопрос он задал не потому, что он его заинтересовал. Моему шефу нужны были секунды, чтобы вспомнить наши с ним последние обсуждения перед моим отъездом сюда, сообразить, куда я клоню или куда могу клонить. И, соответственно, еще раз выверить свою позицию главного редактора.

– Неважно, – отмахнулся я, торопясь высказать как можно больше, пока меня еще слушают. – Понимаешь, проблема-то

очень серьезная. Общество разделилось на два лагеря: противников смертной казни и сторонников смертной казни. И вот только тут я понял, что это проблема…

– Что ты хочешь?

– Я хочу на базе заказного материала развернуть дискуссию, подчеркнуть нравственную сторону вопроса. Показать, что она касается не тех, кого мы убили или не убили, а запрятали до конца своих дней за колючую проволоку. Эта проблема касается каждого из нас. Каждого! И тех, кто ратует за смертную казнь, и тех, кто является ее ярым противником. И особенно тех, кому сейчас абсолютно все равно.

– Что ж ты такой впечатлительный-то, Боря? – скупо рассмеялся в трубку Андрей. – Насмотрелся там на душегубцев и расчувствовался?

– Ты просто не представляешь, с чем я тут столкнулся, Андрей, – попытался я заинтриговать своего шефа.

– Ой ли? Думаешь, я не читаю, не знакомлюсь с тем, что у нас проскальзывает в печати и в Интернете?

– Вот именно, – ухватился я за оброненную фразу, – вот именно, что проскальзывает! А я хочу подробно остановиться, я хочу взволновать людей. Я уже предвижу реакцию, вижу, как мы всех взбудоражим. Ты хочешь повышения рейтинга? Вот тебе и будет повышение! Это же тема! Тема века!

– Слушай, философ, – с сарказмом сказал Ревенко, – я понимаю, что тебе хочется самовыразиться, но при чем тут наше издание?

– Подожди, Андрей. Тут мое самовыражение ни при чем. Ты можешь себе представить священника, который со дня основания ездит сюда раз в неделю? Девятнадцать лет, Андрей! Девятнадцать лет каждую неделю! Дело тут не в самовыражении, не в моей позиции…

– Да верю я, верю! – чуть ли не со стоном ответил Ревенко. – И это интересно, и многое другое. Только ты, творческая твоя душа, пойми, что каждая полоса стоит денег, каждая строка. Нам заказали тему, оплатили. Нам заказывают размещение других статей, размещение рекламы. Ты об экономической стороне иногда задумывайся. Кто мне разрешит отсебятину печатать за счет прибыли? Как я с учредителем объясняться буду? Мы с тобой наемные работники и должны делать то, что нам велят. Была бы это моя собственность, я бы обеими руками был «за». Единственное, что я могу тебе посоветовать, – это оставить тему в резерве. Продумай, набросай «вчерне». Будет заказ – карты тебе в руки и перо в задницу. Я даже обещаю тебе, что провентилирую вопрос кое в каких кругах. Не исключено, что в этом году мы

нечто подобное пробьем в какой-нибудь номер, надо просто найти заинтересованную сторону, партнера. Понимаешь?

– Понимаю, – обреченно ответил я.

– Ну и славно. Давай закругляйся там. Возвращайся, подчисть текст и сдавай.

Нечто подобное я и ожидал услышать. Ожидал, но попробовать убедить Андрея все-таки был должен. В глубине души я надеялся на чудо, где-то очень глубоко. Как и осужденные, отбывающие пожизненное заключение на этом спецучастке…

Разумеется, я не лег спать. Ни в девять, ни в десять и ни в два ночи. Меня осенило, и я работал взахлеб. Выход был, пусть Ревенко и назвал бы мой поступок еще одной попыткой самовыразиться. Я решил открыть в Интернете свой собственный «Живой Журнал» и выложить там все свои мысли, выложить собранную мною информацию, подтолкнуть тех, кто будет на него заходить, оставлять комментарии, к диалогу, к размышлениям, к внутреннему анализу.

27 мая 2010 г.

01:40

…Потому что тогда я еще видел только внешнюю сторону проблемы. А потом я стал думать именно о тех, кого я видел в камерах спецучастка. Разные судьбы, разные преступления, но все они олицетворения очень большого зла, настолько большого, что ни один закон ни в одной стране не намерен их щадить, не намерен оставлять среди граждан своих стран. Вопрос был только в способе удаления из мира остальных.

Как, почему, зачем они совершили это? Ведь каждый из них знал меру ответственности за свои деяния. Знал и, тем не менее, совершил то, что совершил. Я не беру террористов, я не беру тех, у кого проявилась патологическая тяга к совершению того или иного действия. В одном случае фанатизм, во втором неконтролируемость на генетическом уровне. А вот те, кого Петр Лупонин не причислял к категории злодеев и мерзавцев, те, к кому он относил и себя самого? Стечение обстоятельств, когда заложенная природой агрессивность взяла верх под действием алкоголя. Желание получить то, что хочется, невзирая на риск быть пойманным.

Вот они и сошлись в одном явлении, эти две проблемы. Наше жестокое решение в отношении тех, кого мы упустили в процессе воспитания? Опять получается, что виновато общество, виновато государство, а сами преступники как бы и не виноваты? Жертвы случая? И, чтобы разобраться, нужно попытаться понять тех, кто еще адекватен, кто еще может дать объективную оценку своему преступлению и реальности раскаяния в этих условиях. И как итог искупления.

Я собирался поднимать проблему гуманности замены смертной казни пожизненным заключением, проблему содержания смертников в колониях, а неожиданно понял, что мне интереснее разобраться в самих преступниках…

«Иван». А о чем тут рассуждать? Это жизнь, это природа, это данность, которую нужно принимать, хотя мы этого и не хотим. Мы хотим иметь хорошую армию, великолепные боеспособные спецподразделения? Хотим. Потому что государство предполагает наличие армии, наличие сил внутренней безопасности. Оно обязано защищать себя. А кто будет его защищать? «Ботаники»? Интеллигенты в десятом поколении, которые занимаются самоедством? Забудьте об этой сказочке, которую нам рассказывали в советские времена, о том, что любой наш гражданин способен на подвиг, способен взять в руки оружие и

отразить агрессора так, что ему неповадно будет. Было такое, брали всем миром оружие и отражали. Светлая память тем, кто в этом участвовал. Только вот погибали первыми и сразу же те, кому природой не дано быть солдатом; те, кто рожден быть ученым, учителем, инженером, пахарем и т. п.

Во всех армиях мира и очень давно спецподразделения формируют из людей особого сорта, набирают в них по нескольким показаниям, включая и склонность к убийству. Ну не может человек стать хорошим солдатом, если он не способен убить. Его можно заставить, его можно убедить, но хорошим солдатом он не станет. А станет им тот, для кого война (то бишь убийство и опасность быть убитым) – родная стихия. Вот и рожает родная земля таких людей, только не все востребованы в армии, не все туда пошли, не все там остались. С одной стороны, хорошо, что рожает, потому что у нас благодаря этому спецназ лучший в мире. С другой стороны, приходится мириться с тем, что потенциальные убийцы ходят среди мирного населения и периодически совершают преступления.

Я никого не оправдываю и не принимаю ничью сторону. Я просто пытаюсь объективно посмотреть на мир. У нас не вызывает чувство омерзения, ненависти, злобы физический урод от рождения. Ни сиамские близнецы, ни тот, кто родился с зачатками конечностей, ни «церебральники», ни «родовики». Так а эти чем заслужили нашу особую ненависть? Только тем, что родились с другими отклонениями, со склонностью к совершению преступлений? Изолировать надо, но надо ли ненавидеть?

«Валентина Михайловна». У меня есть дочь. Две трети жизни она проводит в психиатрической клинике, потому что у нее периодически случаются обострения, сопровождаемые истериками, буйством и попытками суицида. В остальное время она тихая, потому что ее в клинике накачивают лекарствами на несколько месяцев вперед. Я уже шесть лет смотрю на нее и постоянно плачу. А вот мама ее подружки плачет реже, потому что она свою доченьку шесть лет назад похоронила.

Шесть лет назад группа подонков, зверей в человеческом обличье, изнасиловала девочек. И не просто, а держали всю ночь на даче и всю ночь издевались по нескольку раз. Пили, кололись и издевались над двумя несовершеннолетними девочками. Подружка не выжила, а моя доченька выжила, только жизнь ли это?

Вас интересует мое мнение насчет этих уродов, этих недочеловеков, которые все это совершили? Или и так ясно, что я не просто желаю им смерти, а смерти лютой, мучительной… У кого-нибудь осталось желание осудить меня за это желание? И

одна ли я такая на свете?

«Галина». Соболезную и горюю вместе с вами, уважаемая Валентина Михайловна. А вот мне, хоть горе и обходило меня всю жизнь стороной, все равно страшно жить на свете. Тут вот многие рассуждают, что природа таких вот людей рождает, что это неизбежные исключения. А вы оглянитесь вокруг, глаза раскройте! Да природа нормальных изредка рождает! Куда ни плюнь, везде зло. Скрытое или явное, но безнаказанное, самодовольное, наглое, неприкрытое зло. Я молчу про тех чиновников, которые крадут у детей, инвалидов, малоимущих; я не говорю о бизнесе, который в нашей стране основан на криминале, обмане…

Хотите пример, который покоробил меня до глубины души? У наших соседей одиннадцать лет назад пропал сын. Он служил срочную службу в армии и пропал. Оказалось, что их отправляли куда-то на работу, а там его опоили или вкололи что-то и вывезли в Дагестан. Он одиннадцать лет был рабом на кирпичном заводе, пытался бежать. Его ловили, били, калечили и снова заставляли работать. Чего он там только не натерпелся: и зубы ему все выбили, и кости переломали, и видел он, как такого же беглеца поймали и живьем сожгли в печи на заводе… И все-таки он убежал и добрался до дома. И сразу явился в милицию, а его арестовали!

Понимаете, в стране легально живут и действуют бандиты, рабовладельцы (целый завод!), человек об этом говорит, а ему предъявляют обвинения, заставляют пройти медкомиссию и дослуживать в армии. А дослуживание в его ситуации означает дисбат! И это в его-то физическом состоянии его признали годным к службе! И еще. Вы думаете, что правоохранительные органы, прокуратуры всякие и спецподразделения бросились в Дагестан по тому адресу накрывать рабовладельцев? Спасать таких же несчастных, как сын моих соседей? Да никто даже не шелохнулся! А почему? Потому что их покрывают такие же негодяи, но с положением, потому что этим заводом конкретные большие люди зарабатывают деньги! Так что у нас сидят не все, а только полторы тысячи тех, кто должен сидеть пожизненно, потому что не имеют права жить среди цивилизованных людей!

29 мая 2010 г.

16:34

…Как раз шла проверка технического состояния камер. Это была та смена, в чье дежурство я попал сюда впервые, и встретили меня со снисходительной приветливостью. Смотреть на процедуру проверки мне было тошно. Опять униженно-послушные фигуры осужденных, в которых таилась смертельная опасность, как в змее, которая впала в оцепенение от холода. Опять страшные потусторонние лица: от лиц живых трупов до подергивающихся от конвульсивных мимических движений. От бессмысленных глаз – до глаз живых, бегающих, жаждущих, жадных, угрюмых. Кунсткамера человеческих образов, собранная по принципу ненормальности. Большей частью приобретенной уже здесь.

И снова выматывающие даже мне душу казенные, холодные, бездушные команды инспекторов-контролеров, лязг засовов, стук закрывающихся железных дверей. Рутина нового дня, которая не сулит никому и ничего, кроме неизбежного, страшного постепенного погружения в небытие, откуда нет возврата.

– Вы еще не уехали? – спросил удивленный Сергей – мой первый консультант и провожатый по коридорам земного ада.

– Н-нет, – не понял я вопроса. – А что? Должен был?

– Обычно журналисты у нас больше одного дня, максимум двух не выдерживают, – без усмешки ответил Сергей.

– Удовольствие смотреть на все это весьма спорное. Вообще-то я собирался уезжать сегодня ночным поездом, но остался у меня в планах еще один человек из осужденных.

– И кто?

– Георгий Павлов, – ответил я и поспешно пояснил: – Разрешение есть.

– Павлов? – Сергей спросил с таким искренним удивлением, что я заподозрил неладное. – Странно, что он дал согласие. Только ничего у вас с ним не получится. Не знаю, зачем он вам нужен.

– И я не знаю, – вздохнул я.

– То есть?

– Мне отец Василий посоветовал с ним побеседовать. Понятия не имею зачем. А почему вас все это так удивило?

– Павлов абсолютно неконтактен. Давно замкнулся в себе, так что трудно сказать, что он еще воспринимает окружающий мир адекватно.

Я намеревался утром посмотреть на Павлова со стороны,

попытаться составить собственное впечатление о нем. И только потом познакомиться с личным делом, послушать, что говорят о нем инспекторы-контролеры. Мне показали осужденного Павлова в момент проверки его камеры, так что разглядеть его удалось в полной мере. Среднего роста, не выделяющийся ни фигурой, ни лицом, ни какой-то особенной жестикуляцией. То же послушное безличие, тот же отсутствующий взгляд.

Тем не менее, разглядывая своего будущего собеседника, я все же чувствовал, что в нем есть что-то особенное, то, что отличает его от других. На его отрешенном лице я заметил две складки, которые шли от крыльев носа вниз. Такие складки появляются, если скорчить презрительную мину, брезгливую, с сильно сжатыми от напряжения зубами. Это может продемонстрировать сам себе любой, если подойдет к зеркалу. Но лицо у Павлова было как бы окаменевшее, абсолютно лишенное выражения и эмоций. И я подумал, что эти складки у него сформировались давно: на этапе следствия, первых лет отсидки. Может, даже в те времена, когда он совершал преступления. Странное лицо, которое можно было бы назвать приятным, по-мужски красивым, умным. Только это было очень давно.

А потом я посмотрел его дело и буквально обалдел. Павлов был серийным убийцей! Не маньяком-насильником, а именно серийным убийцей. То есть человек ходил по городу, где-то работал, наверняка имел семью – а периодически убивал людей по определенному признаку. Подробностей в деле я не нашел, или мне их не показали, но внешность серийного убийцы я себе как-то иначе представлял. Менее интеллигентным, что ли.

И после обеда я был готов пообщаться с Павловым. Прежде чем его приведут в отдельную комнату, разделенную решетками на три части, я решил поговорить с дежурной сменой и почитать, что написано на двери камеры на «визитке». Приписка красным все же была, хотя я почему-то надеялся, что ее не будет. Гласила она о возможной вспышке агрессивности и возможных попытках суицида. Хм, а Сергей говорил, что Павлов замкнут до предела, абсолютно неконтактен… Значит, психолог разглядел что-то глубже. Или Павлов умышленно носит маску отрешенности от мира, а на самом деле нормален. В определенном смысле… Ведь он же согласился на интервью с журналистом, он же встречается со священником. Хотя насчет отца Василия я не уверен. Он просто посоветовал побеседовать с Павловым, а удавалось ли это ему самому, я не знаю.

Сергей выслушал мои сомнения спокойно и даже как-то понимающе.

– Формулы «предупрежден – значит, вооружен» и «непонятен

– значит, опасен» придуманы давно и не нами. И специалистам виднее, что у него в черепушке на самом деле творится. Только я вам скажу, что дежурит он по камере исправно, доклады делает как положено, ведет себя в соответствии с режимом. Те, кто с катушек съезжает, у них сразу отклонения видны, а Павлов даже работает, хотя и поглядываем мы за ним очень внимательно. Не обольщайтесь, что он свихнулся: я думаю, что он просто себе на уме. Не забывайте, что запросто планировал преступления, готовился к ним и убивал людей. Он ведь здесь уже с девяносто пятого, когда еще ждали расстрелов, но их просто приостановили по негласному распоряжению. А до этого еще два года сидел под следствием и знал, что статья у него расстрельная.

– А родственники у него есть, на свидание к нему хоть кто-то приезжал?

– Вот этого я не знаю. Пока я здесь – еще ни разу. Хотя, судя по личному делу, он женат; мать вроде была, потому что следователи ее тоже допрашивали…

30 мая 2010 г.

21:46

Вот так и получилось, что я полностью перешел на повесть об этом человеке. Человеке, которого я не знал, человеке, который мне был непонятен, человеке, о котором мне говорил священник.

Он сидел передо мной и смотрел в пол все тем же пустым взглядом. Мы еще не начали разговора, и я просто разглядывал сидевшего на табурете за двумя рядами решетки осужденного Георгия Павлова. Разглядывал и ловил себя на мысли, что чисто внешне не воспринимаю его как убийцу. Попытался сравнить свои ощущения при взгляде на других осужденных. Нет, все равно не воспринимаю. А если, черт возьми, тут судебная ошибка? Если он, скажем, взял на себя чужую вину? Или так изменился здесь за пятнадцать лет, что перестал быть злодеем? Однако, напомнил я себе, не забывай про вердикт психолога, а тот открытым текстом говорит, что вспышка агрессивности возможна. И еще про возможность суицида. С последним мне было понятно – надлом, нежелание жить, нежелание терпеть все это бессмысленное существование. А вот вспышка агрессивности – это мне серьезная подсказка.

Тогда, в тот первый раз, о котором я сейчас рассказываю, я еще не собирался писать именно о нем. Я просто заинтересовался предложением отца Василия; собирался нанести последний штрих своих впечатлений о спецучастке и уехать подчищать и сдавать статью.

– Меня зовут Борис, – с нажимом и со значением в голосе говорил я. – Я журналист и приехал сюда, чтобы написать статью о колониях, где содержатся осужденные к пожизненному заключению. Понимаете, описать условия содержания, порядки… Ну и написать, конечно же, и о тех, кто тут содержится.

Павлов смотрел в пол, не изменив выражения лица. Нельзя было даже сказать, что он чего-то ждал. Он присутствовал при моем монологе.

– Понимаете, Георгий, я хочу, чтобы люди там узнали обо всем, – приврал я, потому что не стоило говорить, что мне заказали эту статью. Я должен для налаживания контакта говорить, что лично заинтересован. – А с вами я захотел побеседовать потому, что мне это посоветовал отец Василий. Вы ведь с ним беседуете периодически?

О, чудо! Павлов кивнул. Выражение его лица не изменилось, ничего не изменилось в его позе, но он кивнул. Значит, он слышал, понимал. Значит, он согласился на интервью не

механически, потому что за пятнадцать лет в него втравили послушание, а потому что сознательно хотел этого.

– Скажите, – я специально произнес это слово, рассчитывая, что подсознательно он его расценит как приказ, – вы каждый вторник встречаетесь с отцом Василием, беседуете с ним?

– Нет… не беседую…

Голос у Павлова оказался хрипловатым, даже каким-то скрипучим. Мне невольно захотелось самому откашляться.

– Но он же приходит к вам? Вас выводят на встречу со священником?

– Да… я слушаю его…

Вот оно что, это не беседа. Он встречается и только слушает. Значит, отец Василий уловил, что его проповеди, его разговоры падают на благодатную почву, что-то меняют в осужденном, помогают ему. Или он просто надеется, что помогают?

– И о чем он с вами разговаривает, о чем говорит вам?

– О боге… о спасении души.

– Вы ему верите? Верите в спасение души, Георгий?

– Я надеюсь на спасение.

Вот так, слово за словом, фраза за фразой, наша встреча наконец стала в самом деле походить на беседу, на диалог. Ответы Павлова стали все более законченными. Я понял, что ему трудно отвечать мне, трудно вслух формулировать свои мысли, потому что он отвык от этого за долгие годы заключения. Наверное, он четко и быстро отвечал на стандартные вопросы охраны, так же четко докладывал, когда был дежурным по камере, но все это он делал автоматически. Все остальное, что у него было на душе, в голове, все, что в нем оставалось от прежнего человека, все это было внутри, наедине с собой. Передо мной был человек, который практически разучился говорить.

Вот, значит, что еще делает спецучасток с осужденными. Если есть такая предрасположенность, то они настолько замыкаются в себе, что вообще ни с кем не контактируют вербально.

Я старался вести беседу так, чтобы не травмировать Павлова неосторожными фразами или суждениями, как я это понимал и как рекомендовали мне инспектора. Первым делом – нежелательно говорить с осужденными об их преступлениях, если они сами не горят желанием исповедоваться. Павлов, на мой взгляд, хотел исповедоваться, только не мог подобрать слова и решиться на это. Я подумал, что со священником у него потому и не получалось бесед, диалога, потому что батюшка был для Павлова не из этого и не из того мира. Не общался он с ними никогда в жизни. А вот журналист – это нечто реальное, обычное. Наверное, отец Василий на это и рассчитывал, предлагая мне

встретиться с Павловым.

О своей жизни здесь, о бытовых условиях, о взаимоотношениях с сокамерниками и тому подобном Павлов мне ничего не сказал. Я решил, что он просто не думает уже об этом. А думает он о свободе, как и все они тут. Я понял, что он рассчитывает на помилование, и ему нужен человек, которому он мог бы рассказать, что он раскаялся, исправился. И что охране, инспекторам он это сказать не может, потому что привык к режиму, а режим человеческих взаимоотношений персонала и осужденных не предполагает. И с сокамерниками он тоже об этом не может поговорить, потому что давно замкнулся в себе, давно не воспринимает их как людей. А может, никогда и не воспринимал.

Я сразу предположил, что Павлов считает себя особенным заключенным. Может быть, несправедливо осужденным, достойным иного наказания. И через два часа упорного поиска контакта, поиска точек, воздействие на которые поможет «разговорить» Павлова, я, наконец, услышал нечто более или менее членораздельное.

– Я не виновен… меня нельзя здесь держать вместе со всеми… убийцами.

Это неожиданное заявление повергло меня в шок. Неужели человек отсидел в этом аду пятнадцать лет, не будучи виновным? Невероятно, но возможно, хотя нельзя быть таким легковерным. Это могло быть и бредом осужденного, а могло быть и уловкой. Правда, неизвестно на что рассчитанной.

– Вы не совершали убийств, в которых вас обвиняют? – осторожно осведомился я.

– Они умерли, потому что им нельзя было жить… не следует. Не я виноват, виновата природа, виноват бог.

– Бог не может быть виноватым, Георгий, – попытался я пойти на экспромт. – Бог всегда прав, бог любит всех нас, и все, что бог делает, все оправданно и все имеет смысл.

– Он должен был покарать их, должен.

– А покарали вы?

– Я не убийца, не убийца! Меня нельзя здесь держать.

Что-то в лице Павлова неуловимо изменилось. То ли эмоции наконец проявились… Честно говоря, я ничего не понимал и не знал даже, о чем говорить. Меня стало одолевать смутное беспокойство. Наверное, сейчас у Павлова начнется истерика, и интервью прервут. Как же я так! Профессионал, называется… Не смог разговорить человека, не смог повернуть разговор в нужное русло, наступил ему на больное, поддался его настроению – и все испортил. А ведь что-то в его деле не так просто…

– Вы хотите, чтобы я помог вам? – бросился я очертя голову в последний рискованный поворот. – Хотите, чтобы я поднял ваше дело?

– Не знаю, – вдруг тихо ответил Павлов, и в его голоске послышалась такая обреченность, что у меня сжалось сердце.

Мне тут же вспомнились предостережения о том, что нельзя смотреть осужденным в глаза, нельзя показывать жалость, сочувствие. Нельзя, иначе из тебя начнут выматывать душу. А я, кажется, купился на уловку, и ее уже выматывают.

– Вы раскаиваетесь в содеянном?

– Я ничего плохо не делал.

Я ставил вопросы и так и эдак. Я спрашивал прямо, я заходил с разных сторон, но Павлов больше не проронил ни слова. Зато на его лице я увидел такую гамму мимики, что был просто шокирован. На каждый мой вопрос ответом были судороги лицевых мышц. И даже плечи осужденного вдруг ссутулились и пришли в движение, и он, отвечая мне, то ли пожимал ими, то ли неопределенно подергивал.

Я уже давно покинул колонию, добрался на служебном автобусе вместе с сотрудниками до города. Давно уже распрощался со всеми и сидел в гулком зале ожидания под напевы объявлений о прибывших и убывающих поездах. Павлов не шел у меня из головы. Что же это было? Бред сходящего с ума человека или уже сошедшего? Проявленная боль невинно осужденного? Попытка получить долю сочувствия, попытка разнообразить свое существование? Я не знал, но чувствовал, что не все так просто. Особенно если учесть, что на Павлова обратил внимание священник.

Почему я не обменялся с отцом Василием телефонами? Большой прокол с моей стороны, хотя я не мог и предполагать, что все так получится. Почему не мог предполагать? А где твоя журналистская жилка? Ты приехал писать статью, тебе священник предложил побеседовать с конкретным осужденным, а ты отнесся к этому легкомысленно. Писака дешевый, обругал я себя презрительно и сплюнул. Досада была невероятная! И вы наверняка понимаете почему…

Билеты я достал на самый поздний проходящий поезд, поэтому в Москву попал уже в районе обеда. Хорошо бы, пока не вкусил домашнего уюта и расслабления, заскочить в редакцию, отчитаться в бухгалтерии за командировку. А уж потом со спокойной душой пару дней не вылезать из дома, скомпоновать весь получившийся материал, подшлифовать кое-где, подчистить. Пары дней хватит. Заодно отмоюсь, отъемся…

Больше всего мне хотелось именно отмыться. У меня было

ощущение, что я несколько дней находился в чем-то грязном, невероятно вонючем, что пропитало и мою одежду, и мое тело. Запах дезинфекции, витавший в стенах спецучастка, в самом деле преследовал меня повсюду. Я даже невольно оглядывался по сторонам, чтобы убедиться, что никто ко мне не принюхивается или не морщится, стоя рядом.

Еще там – в том городе – на вокзале я чувствовал себя в каком-то подвешенном состоянии. Трудно объяснить, но после колонии я как будто попал в иной мир, с иной плотностью воздуха, с иными частотами звуков, иными красками. Потом в таком же состоянии, только полусна, я пребывал в вагоне поезда. Лежал на верхней полке плацкартного вагона возле самого туалета, а мое сознание плавало где-то между звуками беспрестанно хлопающей двери тамбура и воспоминаниями о колонии.

И уже в Москве, когда я вышел из вагона на платформу, я ощутил в полной мере то, что, наверное, чувствуют бывшие заключенные, когда выходят на свободу. Не матерые уголовники, не заядлые воры, а те, кто разок попал по дурости, по пьянке, по воле случая, как сказал отец Василий. Голубое небо, белые облака и множество свободных людей в разных чистых свободных одеждах всех цветов и расцветок. И никаких команд, никаких построений… Свобода! Воля! Крепко меня зацепил спецучасток.

В издательство я, предварительно звякнув Ирке, все-таки поехал сразу с вокзала. Потратил на все свои дела, нужные и ненужные разговоры я все равно часа три. Так что домой приехал только к ужину.

– Устал? – подсела ко мне Ирка, наблюдая, как я с остервенением мечу ложкой щи. – Тебя там что, не кормили?

– Кормили, – с набитым ртом ответил я.

– А чего ты такой серый приехал?

– Слушай, – я положил ложку и вытер рот салфеткой. – Чем от меня пахнет?

– Гелем для душа, а что?

– Иллюзия, – вздохнул я. – Ощущение, что так пропитался запахом зоны, что его уже не уничтожить.

– Страшно там?

– Как тебе сказать… – пожал я плечами.

Я почувствовал, что мне нужно выговориться. Трепа мне хватило и в издательстве, а вот так выговориться, чтобы тебя послушали, попытались понять, черт возьми, посочувствовали, очень захотелось. И я стал рассказывать. Не о спецучастке, конечно, а о колонии вообще. Ирка сначала слушала молча. Потом, ни слова не говоря, поднялась, вытащила из

холодильника початую бутылку виски и плеснула нам в стаканы на два пальца. Я благодарно посмотрел на жену, чмокнул в ухо и опрокинул алкоголь в рот.

Работать я умею. А еще люблю все доводить до конца и хвататься за разные дела одновременно. Из-за этого мы с Иркой иногда спорим, потому что она нет-нет да и обвинит меня в излишней старательности. Короче, на следующий день я встал, как и велел себе, в семь утра, позавтракал и накинулся на материалы по заказанной статье. В итоге в десять вечера я сформировал материал в окончательном варианте, сбросил его себе на флешку, а заодно и на почту Андрею. Все. Теперь можно вернуться к истории с Георгием Павловым.

И я кинулся рыть в Интернете. К часу ночи у меня уже было представление о том, что происходило в городе «N» в 1993 году. Освещалось все не очень подробно, но и этого мне пока хватало.

2 июня 2010 г.

09:12

Искали его чуть меньше года, но все равно нашли. Перечень совершенных убийств приводился. Их было четыре. Весной он убил капитана милиции, летом в течение двух месяцев сначала парня – сына какого-то бизнесмена, потом предпринимателя – владельца сети мини-магазинов. А уже осенью – заместителя главы одного из районов города. По этим двум последним убийствам его и вычислили.

Следствие шло почти два года, судебное разбирательство тоже затянулось на три месяца. В убийствах Павлов сознался. Но ни на суде, ни в процессе расследования, как я понял по комментариям журналистов, никто ни слова не сказал о мотивах преступлений. Почему Георгий Павлов совершил эти четыре убийства, так и осталось неясным. Из материалов следовало, что ни с кем из своих жертв он не был знаком, нигде не пересекался, личной неприязни не имел.

В процессе обсуждения пресса однозначно полагала, что убийцу признают душевнобольным. Но и этого не последовало. Экспертиза подтвердила, что преступник вменяем, сознавал, что творит, и вполне может нести заслуженное наказание. Мелькнуло и упоминание о том, что суд приговорил Павлова к высшей мере наказания, что кассации не последовало и что Верховный суд оставил приговор без изменения.

Вот как! И я через пятнадцать лет встречаюсь с этим серийным убийцей в одной из колоний на спецучастке… И он считает себя невиновным, точнее, как следует из его бреда, он не должен там сидеть. А еще он что-то там говорил, что его жертвы не должны жить или ходить по земле. Точнее не помню. А еще я встречаю там же на спецучастке священника, который очень много лет пытается облегчить души смертникам. И этот священник советует мне, в связи с написанием статьи, побеседовать с осужденным Павловым.

Вывод, что я сделал, показался мне крайне интересным. Суд и следствие столкнулись с необычным убийцей и фактически признали его таковым. Хотя и приговорили его к смерти. Священник, который почти девятнадцать лет еженедельно общается со смертниками, тоже считает его преступником необычным (или необычным человеком). Кроме того, за пару часов беседы с Павловым я не успел в нем разобраться. Но зато понял, что это необычный человек, что есть у него какая-то тайна, которая ускользнула от всех в 93-м году.

Человек убивал, не имея мотива. Его признали вменяемым. Значит, и суд и следствие просто не смогли установить мотива преступлений, хотя на смерть человека осудили. Значит, от Павлова просто ничего не добились, кроме признания, – как, впрочем, и я. Но я пытался говорить с ним после пятнадцати лет колонии для пожизненного заключения. Результаты такой отсидки я видел там собственным глазами. С таким же успехом можно было бы беседовать с портретом человека, с его фотографией.

Утром я, уже с окончательно принятым решением и готовностью отстаивать его с пеной у рта, летел в издательство. Андрей опять куда-то с утра спешил, но я уговорил его уделить мне буквально пять минут. Этого времени мне должно было хватить.

Как и следовало ожидать, Андрей меня не понял. Блажь, слюни и сопли. Если это не имеет коммерческого смысла, то не имеет смысла вообще. Я не спорил, не приводил доводов. Я был терпелив и решителен в своих намерениях. И Андрей меня отпустил – за свой счет, естественно.

Объясняться с Иркой было проще, потому что она у меня тоже человек творческий и потому что она меня любит. А когда человек любит, он понимает. Несколько звонков вперемешку с суетой сборов – и я был готов. Мне разрешили приехать еще раз и пообщаться с осужденным Георгием Павловым.

4 июня 2010 г.

20:03

Отец Василий прихворнул, но без лишних церемоний сразу сказал, чтобы я к нему приезжал. Встретил он меня в толстом домашнем халате и больших тапках,надетых на шерстяные носки. Я посмотрел на пожилого священника и пожалел о своем визите. Получалось, что я в угоду своему творческому бзику беспокою старого, усталого и больного человека. Да еще и пользуясь тем, что он к моему делу неравнодушен.

– Проходь, проходь, Борюша, – осипшим простуженным голосом предложил отец Василий и посторонился, пропуская меня в маленькую прихожую. – Значит, вернулся?

– Вернулся, – ответил я и шагнул было в сторону кухни, где мы с ним до полночи в прошлый раз беседовали.

– Ты в комнату проходи, Борюша. Извини, прилягу я, а то ноги совсем не держат.

– Где же, отец Василий, вас в такую теплынь прохватило-то?

– У главы администрации, – прокряхтел священник, укладываясь на диван и укрываясь пледом. – На совещании бестолковом вчера три часа просидел. И додумались посадить меня прямо под кондиционер… Дьявольское изобретение!

– Может быть, вам лекарства какие нужны? – спохватился я. – Или из продуктов чего?

– Ну-ну! – с улыбкой проворчал священник. – Вскинулся! Чай мир-то не без добрых людей. Соседка у меня женщина сердобольная – и лекарств принесла, и отвару сделала. Не переживай, помереть не дадут. Давай, рассказывай.

– А что рассказывать? – Я послушно уселся в старенькое кресло. – Смутили вы меня, отец Василий. Вы в прошлый раз посоветовали поговорить с тремя осужденными. А почему именно с ними?

– Неужели не понял? Этим поболее других помощь нужна. Ты с ними по-людски поговорил бы, у них на душе и полегчало бы. И тебе польза в написании своей статьи, и им польза, поддержка. Думаешь, они каждый вторник ко мне на беседу в большинстве из-за веры кидаются? Нету там верующих, Борюша, почти нет. Так, в зачатке вера у некоторых. А ходят ко мне, потому как поговорить хочется, голос человеческий послушать. Опять же сострадание во мне чувствуют. Лупонин совсем плох, он недалек от помешательства. Думал с твоей помощью отсрочить…

– Теперь уже все, – нахмурился я. – Теперь ему только психиатр поможет.

– Так, значит? – задумчиво произнес священник. – Ну, что же, по крайней мере, теперь он страдать не будет. Теперь он навечно в мире иллюзий и воспоминаний.

– Вы мне про Павлова ответьте, отец Василий. Его-то почему мне порекомендовали?

– Ты вроде взрослый человек, – спокойно улыбнулся священник, – журналист по профессии. А вот сам себе на свои же вопросы отвечать не научился. Ты же почему-то вернулся? Не на меня же, болезного, поглядеть. Небось из-за Павлова-то и приехал. Так, что ли?

– Так, все так, отец Василий. Только на свои вопросы труднее всего ответы находить.

– Это точно, – согласился священник. – Советовать всегда легче. А вот в делах, в которых ты должен своим сердцем дойти, советовать нельзя. Смысла нет. Или совета твоего не поймут, или не дойдет он. Человек должен быть готов к советам, тогда их и давать время. Ты никогда не задумывался, почему церковь, в отличие от супермаркетов, не занимается рекламой, не зазывает к себе плакатами, огненными рекламами? А потому, что в церковь всегда и все приходят сами. Кто за советом, кто за помощью, а кто уже и к богу. Приходят туда тогда, когда уже готовы прийти. А когда готовы, тогда мы и проповедуем, просвещаем. Советы, как и веру в бога, Борюша, нельзя навязывать.

Я покачал головой, не зная, что тут ответить. Старик был в своем амплуа. И в прошлый раз он мне толком ничего не сказал, и опять уходит от прямого ответа. А может, он и прав. Подсказка, поданная не в нужном месте и не в нужное время, быстро забывается. А вот то, до чего ты дошел сам, что понял своим разумом, через свою душу, свое сердце пропустил, – то с тобой навеки, то твое. Это как с книгой. Прочитать по совету можно, а понять, принять ее глубокий смысл – не всегда.

– Какая-то беда с Павловым, – наконец сказал я. – Не такой он, как все.

– Там беда со всеми.

– Это понятно, – попытался я уточнить свою мысль. – Я, конечно, со всеми не говорил и всех, как вы, не знаю, но в Павлове мне показалось особенным то, что он считает себя невиновным. Я даже, было дело, в Интернете познакомился с его историей. А поначалу даже подумал, что он мог оказаться невинно осужденным. Или по ошибке, или по чьему-то умыслу…

Отец Василий ответил не сразу. Он довольно долго смотрел в потолок, потом завозился на своем диване, приподнял подушку и устроился полусидя.

– Не было там ошибки, – наконец сказал он. – И никакого

умысла тоже.

– Значит, он виновен?

– Виновен. Есть на нем такой грех.

– Тогда я не понимаю… может, у него начались проблемы с психикой?

– Наверное, начались, но не настолько, чтобы он ничего не понимал. Замкнулся он в себе, в своем страдании. И у меня не получается привести его к раскаянию, вот в чем большая беда, Борюша. Человек должен в конце концов раскаяться, он должен покинуть этот мир, очистившись покаянием перед богом. Я вот достучаться до него пока не могу, а ты можешь мне помочь.

– Подождите, отец Василий! А что, все остальные раскаялись? Или находятся на пути к раскаянию? И даже этот чеченский террорист? Так он вообще мусульманин.

– Ко мне, Борюша, приходят сами. Никто насилкой не тянет. А пришел бы мусульманин, я бы и ему нужные слова подобрал. Бог-то, он ведь один, как его ни называй. И ты думаешь, я не понимаю, что не все, идя ко мне, тянутся к вере? Не важно это. Пусть приходят, а я уж словечко доброе и нужное найду. Пока идут, я тоже буду приходить. А когда перестанут проситься ко мне, я стану пороги обивать у начальства и добьюсь, чтобы мне разрешили в камеры заходить. Без охраны.

– Это уже будет навязывание веры.

– Не веры, Борюша. Веру я никому не навязываю и сейчас. Я слово доброе несу, понимание. Я не в Господа уверовать стремлюсь их уговорить, а привести к покаянию, к осмыслению содеянного, всего того зла, которое человек совершил.

…Всю дорогу до колонии я вспоминал и анализировал разговор с отцом Василием. Большого сердца ведь старик и большая умница. Как он на меня тогда смотрел, когда я с ним впервые столкнулся, когда окликнул его на улице! С неодобрением смотрел. И как он все повернул? Ведь понимал, что статью я пишу в угоду своему тщеславию, что меня мало волнуют те, кто тут пожизненно изолирован от всего мира. И что он сделал? Он привлек меня в свои ряды, заинтересовал Павловым. Он сделал так, что я задумался, что я увидел в кровожадном монстре, серийном убийце человека, захотел разобраться в нем. А это значит, что я постараюсь так или иначе помочь этому человеку. И для кого отец Василий сделал доброе дело? Для Павлова? Не только. По сути, он и для меня сделал доброе дело, помог мне разобраться в себе, помог моему человеколюбию выпутаться из паутины профессиональных качеств, гордыни, эгоизма обывательской успокоенности и равнодушия…

«Лев». А вы, уважаемый Борис Михайлович, случаем не

приврали? Не придумали этого самого священника для красного словца? По-моему, вас как раз и мучают комплексы непризнанного автора. Не бывает таких священников в наше время. Раньше, может, и были, а сейчас – очень сомнительно. Повидал я их. Два раза приглашал из церкви священника освящать квартиры, а потом еще и офис. Обычные мужики, только в рясах. Пришел, деловито расставил свечи, скороговоркой себе под нос какие-то молитвы пробурчал – и ушел. Что-то не ощутил я горячей веры, не увидел огня в глазах. Чиновники они там все от религии, деньги зарабатывают…

«Галина Викторовна». На таких, как вы, циничных бизнесменах и «хозяевах» жизни, грех не зарабатывать. Вы-то на нас зарабатываете! А вы сходи´те в церковь и поговорите хоть с одним из них. Придите с душевной проблемой. Какого огня в глазах вам не хватает? Огонь у них в сердце, они в мире живут с собой, с людьми. Это счастливые люди, и счастлив тот, кто к ним придет. Потому что через них путь к богу. И лучше через них и как можно раньше, а не потом, когда беда, когда не хочется жить…

7 июня 2010 г.

19:57

Как мне сказали, Павлов с готовностью отозвался на предложение опять встретиться с тем самым журналистом. Это меня обнадежило и обрадовало. Но по истечении трех дней руки у меня буквально опустились. Вел осужденный себя теперь иначе – совсем не так, как во время той первой беседы. На его лице была заметна мука, явные следы борьбы с самим собой. Я никак не мог избавиться от ассоциации, что Павлов похож на человека, который вышел в яркий солнечный день после длительного пребывания в непроглядной темноте. Он так же щурился, но старался что-то разглядеть перед собой. Он избегал смотреть мне в глаза, хмурился и морщился. Но между нами по-прежнему была стена. Непрошибаемая, каменная стена.

Я допытывался у него о его готовности рассказать мне о себе. И он соглашался. Я рискнул и спросил его, готов ли он рассказать о совершенных преступлениях. И он опять согласился. И замкнулся. Я решил было, что совершил непростительную ошибку, слишком поспешил. Но потом подумал, что с Павловым все это пройдет, что контакт снова наладится. Ведь он же готов рассказывать. Просто нужно время, чтобы преодолеть этот барьер.

И его рассказ превратился в такую муку для меня, что я начал откровенно отчаиваться. Я тянул из него каждое слово, заходил то с одной стороны, то с другой, выворачивался наизнанку в поисках формулировок, подсказок, доводов. Даже стал записывать на диктофон наши беседы, а потом в гостинице часами прокручивать и прокручивать записи в поисках выхода из создавшегося положения.

Потом я не выдержал и позвонил своему однокласснику психологу Лешке Тихонову. Тот выслушал меня, усмехнулся, что я собираюсь обсуждать такие вещи по телефону. Потом переспросил, в каком городе я нахожусь. Оказалось, что здесь есть человек, которого Лешка хорошо знает и который мне может помочь. Они познакомились на какой-то конференции, у них были родственные научные интересы, и они уже пару лет довольно плотно общаются в Интернете. Лешка взял тайм-аут и позвонил мне минут через тридцать. Его коллега оказался на месте и изъявил желание помочь мне. Лешка продиктовал мне его телефон.

«– …и вы тогда пришли к подъезду его дома с конкретным намерением? Именно убить?

– Да.

– То есть вы шли, понимая, что вот встретите его, достанете пистолет и выстрелите в него?

– Да.

– Подождите, Георгий! Вам лично этот человек ничего плохого не сделал, у вас с ним ничего не связано. Поймите, я ведь хочу понять, как это можно ненавидеть незнакомого тебе человека, с которым тебя ничего не связывает. Вы ведь с ним ни разу в жизни не встречались, никакой личной неприязни у вас нет… И вы готовы его убить. Не мимолетное желание, не…

– Да.

– Послушайте… так у нас ведь ничего не получится… Вы согласились ответить на мои вопросы…

– Я отвечаю.

– А давайте перейдем на «ты»! Так проще будет общаться. Мы ведь почти ровесники, вы старше меня всего на шесть лет. Это же практически одно поколение: росли в одно время, учились в одних школах, черт, на одних девчонок заглядывались… Я очень хочу понять, понимаешь? Это ведь не твоя беда, это беда общества. Ну, так как? На «ты»?

– Нет…»

Щелчок клавиши, остановивший запись, вернул меня в нынешнюю реальность из тягостного, густого и душного от витавшего в воздухе чувства отчаяния и безысходности мира спецучастка.

Психоаналитик Александр Иванович Барсуков, у которого я сидел сейчас дома и который согласился помочь мне по просьбе Лешки Тихонова, оказался моим ровесником и простецким парнем. Хотя, может, это просто профессиональная привычка – общаться в такой манере, которая располагает к раскрытию собеседника, простоте общения и максимальному откровению. Он с ходу, как только я вошел к нему, представился Сашкой, а меня стал звать Борькой. Он потащил меня в свой кабинет, демонстративно сгреб в сторону на журнальном столике груду бумаг, захлопнул ноутбук, показывая всем своим видом, что готов погрузиться в мои проблемы.

– Понимаешь, Борька, – Барсуков упер локти в колени, привычно сцепил пальцы рук замком и прижался к ним губами, – это очень типичная реакция. Я уловил ряд пауз, и именно в тех местах, где и ожидал их уловить. Это, как бы тебе попроще объяснить, типичная картина свернувшегося сознания. Он сейчас как кокон, и тебе этот кокон не прошибить. Видишь ли, это ведь защитная реакция организма, его психики, которая удерживает твоего «палача» от помешательства. Одни падают в обморок, другие теряют рассудок. При длительных реакциях те, кто не

теряет рассудок, заворачиваются вот в такой кокон. Или кончают с собой.

– А может быть, этот уход в себя и есть настоящее помешательство?

Я смотрел на Сашку с надеждой. Все-таки он был знаменитым психологом, кандидатом двух наук и имел приличную практику как психоаналитик. Так мне отрекомендовал его мой одноклассник.

– Нет-нет-нет! – замахал руками Барсуков и, легко, одним рывком поднявшись с дивана, заложил руки за спину и стал кружить по кабинету, каждый раз старательно обходя мое кресло. – Сумасшедший, если пользоваться этим не очень внятным термином, воспринимает окружающую действительность в искаженном виде либо полностью подменяет ее собственной, выдуманной или сформировавшейся у него в мозгу действительностью. Здесь же мы имеем барьер.

– То есть ты хочешь сказать, что окружающую действительность он воспринимает адекватно?

– Нет, что ты! О какой адекватности может идти речь? Адекватность есть здоровое равновесие между поступающей в мозг информацией и здоровой реакцией на нее. А у него реакция нездоровая. И беда в том, что сформировалась она окружающей средой. Вот если бы тебе удалось изъять его из этой среды, поместить в некогда привычную, тогда контакт наладился бы быстрее.

– Кто ж мне даст? – усмехнулся я. – Это же колония, да еще спецучасток для смертников. Кроме как из клетки в клетку там не пообщаешься. Так что среду придется принимать как данность.

– Н-да, ситуэйшен! – рассмеялся Сашка. – Ладно, вот что я тебе посоветую. Ты постарайся, во-первых, сам не соответствовать окружающей среде. Будь для него положительным раздражителем. Или побудителем…

– Ты не представляешь, как тяжело просто находиться там, а не то чтобы чему-то еще соответствовать… Там стены давят, воздух будто пропитан затаенной злобой… и такой тоской, что постороннему человеку и то выть хочется.

– Ничего, ты постарайся. Такая у тебя работа, – отмахнулся Сашка. – А во-вторых, нужно обратиться к истокам его состояния. Ведь психологическое состояние, которое привело к изменению внешних реакций, формировалось не один день и даже не в течение тех лет, что он тут сидит. Оно формировалось уже тогда, когда он готовился к первому своему преступлению, когда у него в мозгу складывалось желание убить первую жертву. Первый мотив, понимаешь?

– Такое ощущение, что мотивов у него не было, – проворчал я.

– Нет-нет-нет, – помотал Сашка выставленным вверх указательным пальцем, – так не бывает. Даже у помешанных есть мотив, только выдуманный. Если исходить из его нормальности и психологического срыва, то мотив должен быть обязательно. Ты, главное, строй беседы так, чтобы обратить его внутренний взор на прошлое, именно на то время, когда у него появилось желание убить в первый раз. Когда его арестовали, говоришь? В 93-м? Вот и поговори с ним о начале девяностых. Интересное было время, смутное, бандитское… Чего-то он хлебнул такого в то время.

– Просто порасспрашивать о тех годах? Как жил, чем жил? Знаешь, я боюсь его спрашивать о матери, жене. Ведь никто к нему на свидания не приезжает…

– Свидания? – изумился Сашка. – Им еще и свидания разрешены? Я думал, что «умер, так умер».

– Да, разрешены. Так вот, я думаю, что заикнись я о близких людях – и он сорвется. Черт его знает, что там могло случиться в те годы. Может, его жена предала, может, мать повесилась от горя. Бередить в его состоянии такие раны…

– Это ты правильно соображаешь, – одобрительно сказал Барсуков и снова уселся на диван напротив меня. – И думать забудь самому заикаться о таких вещах. Подведи так разговор, чтобы он сам, если захочет, стал тебе о них рассказывать. Но и в ходе рассказа не вздумай задавать дополнительные или наводящие вопросы…

Мы долго еще обсуждали Павлова, но конкретных предложений Барсуков мне не дал, пока перед ним нет психологического портрета. А для этого я должен был предоставить ему много дополнительной информации, ответить на массу вопросов и выполнить в процессе бесед с Павловым массу Сашкиных рекомендаций.

В итоге у меня практически все получилось. Не сразу и не вдруг, через мучительные поиски, длительные размышления, отчаяние, но я узнал историю этого человека. И узнал ее из его уст. Сашка оказался прав, что над совокупностью упорного сознания своей правоты, сознания невиновности довлело еще нечто психологически «громоздкое», как он выразился. Отсюда и чувство задавленности, чувство засасывающей трясины. Тяготило Павлова, угнетало его не содеянное, а результаты – то, как это отразилось на его близких. Вот какую вину он за собой чувствовал и долю которой возлагал на свои жертвы. Потому-то он и считал, что им, чуть ли не вдвойне, было не место на этом свете.

12 июня 2010 г.

10:11

Воспроизводить всю нашу многодневную беседу я не буду. Во-первых, морально тяжело описывать его состояние во время исповеди, тяжело просто вспоминать его лицо, глаза. Да и времени это займет очень много, потому что рассказ Павлова становился то сбивчивым и невнятным, то быстрым до скороговорки, похожим на горячечный бред. Очень часто он уходил в себя, и я пугался, что это теперь уже навсегда. А были периоды, когда он буквально выдавливал из себя каждое слово. И не самое важное, на мой взгляд, то, как он рассказывал. Для меня важно донести то, что он рассказывал, через что он прошел душой.

Вот поэтому я, как его единственный на свете слушатель, возьму на себя смелость воспроизвести все от его имени. Основываясь на своих впечатлениях, сделать попытку реконструкции событий, произошедших для нас очень много лет назад. А для него– в другой жизни…

Идея пришла мне в голову совершенно неожиданно, как озарение. Это потом я понял, что озарения не было; это стало только результатом того, что я месяцами ломал голову, как прокормить семью. На зарплату преподавателя истории профтехучилища не только прожить было трудно. В то время проще было не работать, потому что для работы нужно было покупать одежду (не в шортах же или стареньком трико и футболке ходить на занятия). Нужно было тратиться на проезд в двух транспортах туда и обратно. Да еще поесть чего-нибудь на работе.

Пробовал я подрабатывать дворником, но, кроме лишней усталости и нареканий со стороны хозяев ларьков, вокруг которых я ежедневно по утрам мел асфальт, ничего путного не получалось. В первый месяц мне выдали треть от обещанной зарплаты, потому что моего хозяина оштрафовали за грязь, второй месяц он пилил меня практически каждый день. Мои доводы, что мы договаривались об утреннем режиме работы, и не более того, разбивались о наглое и тупое раздражение. Понятно, что третьего месяца подработки просто не было. Трудиться сторожем у меня так и не получилось.

Потом были попытки получить часы по совместительству в других учебных заведениях, но желающих было в достатке и без меня. Где-то удавалось урвать крохи репетиторством, где-то – грузчиком. Моя жена Ольга постепенно вытянула из шкатулки и

сдала в скупку почти все свое золото. Я смотрел на это, и меня мучила совесть. Оля была беременна, ей требовалось правильное калорийное питание, а я не мог толком прокормить свою семью. Кто-нибудь помнит то время? Помнит опять введенные карточки, отоваривание в магазинах? Кто-нибудь помнит на базарах табак россыпью, украденный с табачной фабрики? Или украденные оттуда же длинные неразрезанные сигареты «Астра» и «Прима»? В большом ходу был этот товар. Помню, как знакомая привозила мужу из командировок разномастные пачки самых разных сигарет, которые ей удавалось там купить по случаю. У нас в городе, несмотря на свою табачную фабрику, с сигаретами было очень плохо.

Я тогда старался скрывать от мамы, как тяжело нам с Ольгой. Мама в то время жила отдельно, потому что у Ольги была своя квартира и я, когда у нас все сладилось, перебрался к ней. Были, конечно, шальные мысли или забрать мать к нам, или уйти к ней, а одну квартиру продать. Но мы все понимали, что деньги быстро проедим и опять останемся нищими. А сдавать квартиру внаем мы опасались, потому что в нашем городе на слуху были случаи с аферами, когда хозяева оставались без квартир.

Так мы и жили, пока я, наконец, не нашел более или менее постоянный приработок. В нашем подъезде жил некий Расул, имевший несколько точек на базаре. Барахло он таскал из Москвы, нанимал молодых наглых баб, которые на базаре этим торговали. Он-то мне и предложил работенку – собирать для него с продавцов «наличку». Сначала я не хотел соглашаться, опасаясь, что меня просто когда-нибудь ограбят рэкетиры. Но потом узнал, что система давно отлажена, что Расул исправно платит кому надо, и его точки и люди находятся как бы под бандитской охраной.

Работа непыльная, хотя нервы нужно иметь железные, чтобы общаться с торговками. Потом наступило лето, кончились занятия в училище, и Расул предложил мне смотаться с ним в Москву. Для оказания ему помощи. Парень я был крепкий, в армии отслужил, а помощь заключалась в том, чтобы помочь Расулу затариться на оптовках и вместе с другими такими же «помощниками» довезти товар в огромных баулах домой. Задача не ахти какая сложная: дотащить все это до вокзала, погрузить в поезд или междугородний автобус, а потом всю дорогу не отходить, чтобы не украли. Потерпеть ночь не емши и не ходимши в туалет не очень сложно, когда знаешь, что тебе заплатят. И заплатят не так уж плохо.

Помнится, в то лето мы не только с долгами расквитались, но и кое-что отложили на черный день. И это при том, что на этих же

московских барахолках – оптовках – я прикупал кое-какие вещи и жене, и себе. И маме тоже иногда подарки привозил. Как-то устраивалась жизнь сама собой, и настроение улучшалось. В то время все вокруг в стране менялось, с большим воодушевлением тогда смотрели на Горбачева даже те, кто испокон веков не интересовался политикой. Социализм – а коммерцию разрешили, кооперативы стали по всей стране создаваться… Инженеры, кандидаты наук потянулись класть плитку, штукатурить стены. Обыватель, у которого завелись деньжата и который хотел нанять кооперативщиков для ремонта квартиры, за всю жизнь не встречался с таким количеством интеллигентных и ученых людей, как в те годы в собственной квартире.

А потом наступил 91-й год. Помните его? Страшно, непонятно после спокойных застойных брежневских времен, к которым так быстро привыкли. А потом так же быстро привыкли к позитивным изменениям. Андропов с его борьбой за трудовую дисциплину… Черненко промелькнул, не оставив следа в памяти людей… А потом сразу перестройка, социализм с человеческим лицом…

То, что новая жизнь начинается как-то не так, чувствовали многие. Страна катилась куда-то не туда и не так. Помните 91-й, который во всем мире запомнился как год окончания «холодной войны» и распада СССР?

События, странные, непривычные по прошлой жизни, вдруг закрутились вокруг меня и моей семьи хороводом. Чужая жизнь начиналась в стране. Для меня тот год запомнился самыми разными событиями. Везде на ценниках вдруг появился непонятный пятипроцентный налог с продаж. Много было шума и обсуждений. И в народе в очередях, и среди торговцев и экономистов.

Но когда 8 января опубликовали приказ министра обороны СССР о направлении в Прибалтику воздушно-десантных войск для обеспечения призыва новобранцев в армию, обыватель почувствовал приближение страшного. Чуть ли не гражданской войны, потому что обострение отношений с Прибалтикой стало очень заметным.

Потом конфликт между Грузией и Южной Осетией, который стали называть войной. Потом попытка государственного переворота в Литве. Создан «Комитет национального спасения», провозгласивший себя единственной законной властью в республике. А потом началось то, что потом назвали распадом СССР.

Со страхом в душе мы слушали и смотрели. Как тогдашний Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин подписал

договор об основах межгосударственных отношений РСФСР и прибалтийских республик, в котором стороны признавали друг друга суверенными государствами. Как 14 января в час ночи отряд спецназа и группа «Альфа» взяли штурмом телецентр в Вильнюсе. Как местное население оказало массовое противодействие захвату и как в результате операции погибли 15 человек.

Наступала совершенно иная жизнь; возврата к старой, спокойной уже не будет. Это было ясно – и это было страшно. Страшно, потому что происходили изменения в области финансов и денежного оборота. Грянуло 22 января – Постановление «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и порядке их обмена и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан». И посыпались проклятия в адрес недавно назначенного главой кабинета министров Павлова. И тут же, как реакция на недовольство, появился указ о совместном патрулировании в крупных городах МВД и армии.

По всей стране зашевелились те, кто почувствовал свой шанс подняться. И пошло-поехало. Менять стали всё и все, кто и до чего только мог дотянуться. Подняли голову борцы за демократию – которые, кстати, потом свой кусок все же урвали. Началось повальное возвращение старых названий городам, улицам. А кое-кто стал пытаться вернуть не только старое название, но и прежний статус. В феврале обособилась Литва, где большинство населения высказалось за свою независимость как суверенного государства. И тут же какая-то задрипанная Исландия признала независимость Литвы…

Весна тоже не принесла спокойствия. В марте в стране начались шахтерские забастовки, наряду с экономическими требованиями выдвигались и политические, в том числе отставка Михаила Горбачева. Но первый президент СССР еще что-то пытался делать, а мы на своих кухнях еще верили, что ему что-то удастся. Состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, но шесть республик бойкотировали его проведение. Тут же прошел референдум в Грузии – об отделении от СССР. Мы еще посмеивались и махали руками – мол, пусть катятся, что они без нас смогут. А 2 апреля по нам ударила реформа цен.

Стало ясно, что правительство сдает позиции. Какой-то насмешкой над государственностью было обращение Верховного Совета СССР к Верховным Советам республик в связи с «бюджетной войной» – невыполнением республиками обязательств по перечислению в госбюджет средств на страшную сумму. А потом Грузия провозгласила государственный

суверенитет и независимость от СССР. А потом начался вывод советских войск из Польши и Чехословакии.

На кухнях обыватель заволновался; он почувствовал, что творится неладное и надвигается еще более неприятное. Немного успокоили страну события 23 апреля в Ново-Огареве и новый Союзный договор. Правда, в нем участвовали уже всего только девять республик. Но страну продолжало лихорадить. Грянул Карабахский конфликт. Прошли погромы таможенных пунктов Латвии и Литвы рижским и вильнюсским ОМОНом. Зашевелила загребущими руками Украина, когда ее Верховный Совет принял решение о немедленном переходе под юрисдикцию УССР союзных предприятий и организаций, расположенных на территории республики.

А потом началась Чечня. Общенациональный конгресс провозгласил независимую Чеченскую Республику – Нохчи-Чо. Начало двоевластия в Чечне, которое ничем хорошим закончиться не могло.

А Борис Ельцин все больше и больше набирал политический вес, хотя никто еще не предполагал, какие потрясения в стране будут связаны с его именем. И как-то неожиданно летом затрещала по швам вся социалистическая система. Тогда, в июне, мы узнали о роспуске Совета экономической взаимопомощи, а в июле – об официальном расторжении в Праге Варшавского договора. А войска СССР уже выводились из Венгрии…

Но простым гражданам стало как-то не до этих событий за пределами страны. Потому что ушлые дяди протащили через Верховный Совет Закон «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий». И потому что в стране началась официальная регистрация безработных. Наконец правительство признало, что существует такое бедствие, и в Москве и других городах открылись первые биржи труда.

А потом всю страну потряс страшный август. Безобразный фарс и «гкчапаевцы», как их потом называли юмористы, – были только видимой стороной страшного айсберга попытки переворота. Мы тогда не знали, что существовала заветная папка, в которой лежал заветный листок бумаги с выверенным и тщательно составленным текстом. С текстом извещения народа, что Михаил Горбачев скоропостижно скончался у себя в Форосе. На 72 часа вся страна замерла в оцепенении, в страшном напряжении, которое все же разрядилось. Но ненадолго.

Продолжали отваливаться республики. Горбачев вышел из КПСС и призвал ЦК объявить о самороспуске партии, а республиканским и местным организациям – самим определить свою судьбу.

А потом наступил последний декабрь страны: распад СССР, переименование РСФСР в Российскую Федерацию, смена советского флага на российский флаг над Кремлем, заявление Горбачева о прекращении деятельности на посту президента СССР, официальное прекращение существования СССР на последнем заседании Верховного Совета и официальное объявление о роспуске СССР. А чтобы мы не очень волновались и лили слезы по другому поводу, нам начали показ мексиканского сериала «Богатые тоже плачут».

Но это было уже зимой, а в начале лета и я, и Расул, и вся страна были озабочены тем, как бы подзаработать денег в смутный период. Кто хотел просто урвать, кто пытался организовать более или менее легальные схемы для обогащения. Руководители многих официальных организаций и ведомств выбили себе право на коммерческую, некоммерческую, полукоммерческую и иную деятельность. Но все равно связанную с зарабатыванием денег для организации, а значит, и для ее лидеров.

Так я узнал в Москве, во время очередной поездки, что Фонд культуры активно создает дочерние предприятия, официально зарабатывающие деньги на цели уставной деятельности фонда. А по сути – кормушки. И я ухватился за эту мысль.

Через две недели я явился в соответствующее место по соответствующему адресу в Москве с устным изложением своей идеи. Она была принята на ура, я получил исчерпывающий список необходимых документов и рекомендаций, а вскоре в городе появилось Творческое объединение «Парнас» Всероссийского фонда культуры. Естественно, со мной в роли генерального директора.

Оля идею сразу восприняла как надо и поддержала меня всем, чем могла. Разумеется, нам пришлось рискнуть и истратить все свои накопления на открытие предприятия. Разумеется, мне пришлось через своих и Ольгиных знакомых влезть в негласные партнерские отношения в районной администрации. Результатом было открытие в центре на людной улице выставочного зала.

Помощников мне насовали со всех сторон, но, надо отдать им должное, помощников хороших. Была у меня дама, которая организовывала выставки, камерные концерты местных безденежных музыкантов. Пристроили ко мне инженера-строителя, собравшего несколько строительных бригад. Они сами искали себе заказы, сами их выполняли, просто на договорах ставилась печать «Парнаса» да в кассе оседали десять процентов заработанных каждой бригадой денег.

Я крутился с упоением. Частенько ездил в Москву в фонд с

отчетами, исправно перечислял туда же уставную часть заработанных денег. Шло время, шлепались в кассу рубли посетителей различных выставок, десятки и сотни в виде доли от продажи выставленных работ, тысячи и десятки тысяч от деятельности бригад. Кое-что перепадало и от афер моих, как мне обещали, надежных негласных партнеров из администрации.

Жизнь налаживалась, мы с Ольгой смотрели в будущее с оптимизмом, а она на меня – с уважением. Как же, ее муж – и смог провернуть такое дело! Теперь мы без страха мечтали о рождении ребенка, о возможной покупке машины, туристической поездке за границу. Я старался, чтобы мое предприятие не закисало, чтобы в его работу внедрялись новые идеи, появлялись новые виды деятельности…

«Провинциал». Это уж точно! Тогда многие нахватали денег. Самые ушлые в те годы и поднялись. Сам, помню, работал в таком кооперативе. А были еще всякие инициативные фонды, молодежные объединения, но все зашибали деньгу, торговали чем ни попадя.

«Москвич». Это ты торговал чем ни попадя. А у нас в столице торговали от немецких бундесверовских сухих пайков до новеньких «Волг-ГАЗ-21» с армейских складов в смазке. Как вспомню… эх, лихое было время!

15 июня 2010 г.

01:51

Вот тогда на свою голову и придумал я этот ход: решил связаться с областными производственными предприятиями, предложить им свои бесплатные услуги. Они привозят образцы своей продукции, я организую выставку, рекламу. Крупную продукцию привозят в единственном экземпляре, мелочь – в нескольких. Я в процессе этой совместной акции получаю право продавать выставочные образцы, а потом перечисляю деньги производителю, оставив себе небольшую, оговоренную договором долю. Получаю право посредничества, если нахожу производственного или торгового партнера для предприятия.

Идея оказалась неплохой, хотя на первых порах и не такой уж доходной. Прохожие в первое время относились к рекламе выставки товаров производственных предприятий области с интересом. Да и цена на билет была минимальной. Потом кое-что стало продаваться прямо с выставки. И мне пришлось не только связываться с предприятием и организовывать довоз продукции, но и выделять специального человека, который сидел бы только на кассе и занимался розничными продажами. На мое удивление, влет пошли пластмассовые прищепки, предлагавшиеся у меня в салоне вдвое дешевле, чем в магазинах, другая мелочевка. В первую неделю я на рознице окупил месячную зарплату персонала салона вместе с обязательными отчислениями с фонда оплаты труда.

А со второй недели стало совсем интересно. Я продал четыре стационарные «крупорушки» фермерам и заказал на заводе еще шесть; заключил договор на поставку с другого завода партии электродрелей в торговую сеть. Я уже окупил все месячные затраты на организацию выставки и выходил на прибыль, когда случилось то, что потом перевернуло всю мою дальнейшую жизнь. Даже не перевернуло, а пустило под откос.

Как-то утром ко мне прибежала молоденькая бухгалтерша и сказала, что двое мужчин вломились в салон, не заплатив, и нахамили смотрителю. Я тут же ринулся в зал разбираться. Чувствовал я себя вполне уверенно. Как таковой крыши у меня не было, специально никому я не платил за то, чтобы меня не трогали рэкетиры. В этом отношении у нас в городе было как-то спокойно, откровенно никто не наглел. Да и тесная связь с местной администрацией позволяла ходить, широко расправив плечи. Одним словом, о возможных наездах я как-то и не думал с самого момента основания своего предприятия. Теперь мне

предстояло поплатиться за это.

В зале я увидел коренастого, коротко остриженного детину в футболке с отрезанными рукавами. Была такая мода в то время у «качков» – с одной стороны, продемонстрировать свое тело, а с другой – у многих и в самом деле оно в футболку стандартного покроя просто не влезало. Рядом с ним стоял сухощавый черноволосый тип лет тридцати и с интересом разглядывал кованый каминный фасад в комплекте с решеткой из числа образцов. Вещь дорогая, пользующаяся большим вниманием у посетителей, но пока еще никому не пришедшаяся по карману.

В состоянии законного возмущения я в тот момент не думал о решетке, а только о престиже своего выставочного зала. Я буквально подлетел к этой парочке и скороговоркой стал весьма сдержанно выражать свое неудовольствие по поводу их обращения с женщиной. Это были последние мгновения жизни, в которой я чувствовал себя хозяином, в которой чувствовал себя в каком-то праве.

Они повернулись ко мне с вялым раздражением, с каким-то ленивым презрением. И я увидел их глаза. Никто из этих двоих еще не успел раскрыть рта, как я вдруг понял, ощутил всем своим нутром, что все, что было в моей жизни раньше, – не более чем короткий праздничный день. Помните, как это бывало, например, в детстве? Утро, музыка, льющаяся из радиоприемника или телевизора. Радостные сборы, поход в зоопарк или в кукольный театр. Потом возвращение домой, вкусный праздничный обед. И обязательно сладости! А потом вечер… а потом утро и снова идти в школу. И как и не было того выходного дня.

Примерно то же я почувствовал и в тот миг. Понял, что судьба до сих пор меня миловала от знакомства с этой стороной действительности, берегла. А вот теперь столкнула лоб в лоб, не дала подготовиться, поразмыслить, даже собраться с духом. Просто взяла и поставила перед действительностью. А вся моя счастливая, сытая, полная самоуважения и благостных перспектив жизнь осталась где-то далеко в стороне. Беременная жена, довольная старушка-мама, растущие доходы и приятные нужные знакомства. Всего этого теперь не существовало; теперь были только эти двое и их взгляды.

– Ты че варежку раззявил? – брезгливо выдавил из себя «здоровый». – Ты кто такой?

– Я… – слова застряли у меня в горле, – я… руководитель предприятия. И…

– Те че, проблемы нужны? – процедил сквозь зубы темноволосый, глядя сквозь меня. – Получишь. Мне каминчик вот этот нужен. Давно мечтал на даче такой поставить. Завтра утром

вот он, – он ткнул пальцем в широченную грудь напарника, – приедет и заберет.

Я постыдно хватал ртом воздух, как вытащенная на берег рыба. Нужные важные и умные слова напрочь выскочили у меня из головы. На меня только что откровенно «наехали», и мне нужно было принимать какие-то меры. Но какие, я не знал. Я долго размышлял, я был красен от злости, но здравый смысл подсказывал, что обращаться в милицию бессмысленно. Даже если заявить, что завтра утром меня будут грабить. Какие основания у меня есть для такого заявления, а у милиции – для соответствующего реагирования?

Я попытался позвонить паре своих хороших знакомых в администрации, которые имели к моему предприятию кое-какое отношение. Но обоих не оказалось на месте. День до позднего вечера прошел в злобных метаниях и сомнениях. Домашних телефонов моих «друзей» я не знал, и ждать утра мне предстояло в любом случае. И к вечеру я настолько разозлился, что решил выпутываться самостоятельно. Точнее, не выпутываться, а просто «разруливать» с этими типами. Неизвестно, кто они такие; возможно, что меня просто взяли «на понт», как это называется в их среде. Да и что они могут мне сделать? Вот когда начнут угрожать, когда начнутся конкретные разговоры, тогда я и приму меры. А продолжения инцидента может вообще не последовать. На этой мысли, немного успокоившись, я лег спать, не сказав жене ни слова о случившемся.

В мрачном состоянии духа я встал утром с постели. Полный самых нехороших предчувствий, отправился на работу. На душе было муторно, но я старался быть уверенным в своих силах. В центре города в двадцатом веке! Что серьезного мне могло угрожать? В конце концов, за мной государство, за мной закон. Не убивать же меня будут! Ну поугрожают, ну стекла ночью выбьют. Может, попытаются подкараулить и избить в темноте. Э, нет! Вот когда посыпятся угрозы, тогда в милицию и заявлю. А если изобьют, то заявление уже будет существовать, и милиция будет знать, кто на меня напал.

Примерно в таком приподнятом состоянии духа я приехал на работу. И ничего страшного не случилось. Моя секретарша уже была на месте – в смысле, курила у входа. Она уже сняла помещение с сигнализации, уже пришла дежурная – смотритель зала. И никто меня утром еще не спрашивал и никто не звонил.

Приехали они в половине десятого. Темно-синяя «Хонда»-пикап стояла прямо под окнами выставочного зала, и никому не было дела, что машина въехала прямо на пешеходную зону. Вчерашний здоровяк с парой крепких парней, но помоложе,

ввалились в выставочный зал, когда я был в кабинете. Я услышал шум и крики. И все понял.

– Ты че, братан? – здоровяк стоял передо мной, засунув руки в карманы джинсов-«варенок», и смотрел набычившись. – Те че вчера сказали?

Поведение их было настолько наглым и беспардонным, что я невольно опять растерялся. Но природного упрямства у меня хватило, чтобы упереться и тупо требовать за камин денег. Я просто старался не вдумываться в угрозы и блатной жаргон. Я решил, что нужно отстоять дорогой каминный фасад сейчас и любой ценой, а потом я уже что-нибудь придумаю. Это они ведь на слабака рассчитывают свое поведение, а я не слабак.

Я видел, как за спиной рэкетиров бухгалтерша делает мне знаки, изображая вращение телефонного диска. Понятно, что она спрашивала разрешения позвонить в милицию. Я в знак согласия кивнул ей. К моему, как ни странно, разочарованию, парни быстро отказались от попытки забрать камин силой. Они пробурчали угрозы и потянулись из зала к выходу. Теперь уже мне следовало придумать, как задержать их до приезда милиции. И я кинулся в новые выяснения отношений.

Желто-синий «жигуленок» с надписью «ГАИ» уже стоял у входа рядом с «Хондой». Это было приятно. Я с удовлетворением подумал, что недооценил силы государства за моей спиной. Однако недооценил я и своих противников. Оказалось, что никто и не собирался у меня ничего требовать и забирать. Они просто приценились к камину и… пошутили. А разрешение на въезд на пешеходную зону у них есть. Здоровяк отошел с капитаном в сторонку, пошептался, и вопрос был решен. «Гаишники» уехали со словами, что разберутся с этой машиной, бандиты уехали с ухмылками. А я остался у входа, переполненный самыми противоречивыми чувствами.

Два дня прошли в относительном спокойствии, если не считать, что я поднял на ноги всех своих знакомых, кто хоть что-то значил в городе или имел хоть какие-то связи или знакомства. Помог мне инструктор из тренажерного зала, куда я стал похаживать в последние несколько месяцев. Он и просветил меня.

– Навел я справки кое у кого, – спокойно рассказывал он. – Его зовут Саша Заварзин, кличка у него Вареный. Он центр держит.

– И как на него управу найти? – с надеждой в голосе спросил я.

– Я так понял, что никто с ним связываться не хочет.

– И что? У кого же мне защиты просить? Только на милицию надеяться?

– Не надейся. Лучше уладь с ним конфликт и живи спокойно. В милиции тоже люди работают. Я же говорю, что никто с ним связываться не будет.

И я тогда понял, что до сих пор жил в розовых очках, общаясь только с приятными людьми – работниками культуры и искусства. Пусть часть моих новых знакомых, после того как я занялся бизнесом, оказалась не совсем чиста на руку, но таково было время, каждый пытался хоть как-то подзаработать. Но все это происходило интеллигентно, с обменом понимающими улыбками. Все соблюдали договоренности, все вели себя честно, и всем было хорошо.

А оказывается, существовал еще и криминал, о котором я имел смутное представление. И был он беспощаден.

Все случилось прямо перед моим домом. Есть там одно местечко, где нужно проходить между забором детского сада и зданием котельной. Бо´льшая часть людей там не ходит, а пользуются этой дорогой только жильцы двух подъездов, потому что так ближе. Когда я увидел борт той самой темно-синей «Хонды», то сразу все понял, и у меня похолодело внутри. Морально я сразу стал готов к разборкам, угрозам, возможно, и избиению. Но я еще был готов стоять на своем. Наверное, по своей наивности так и не поверил, что милиция настолько срослась с криминалом, и в конечном итоге надеялся на нее. Буду отстаивать свое дело до конца, ничего страшного со мной не случится; а потом посмотрим, кто настырнее. С этими мыслями я сделал последний шаг.

Крепкие проворные руки умело схватили меня так, что я не смог и пошевельнуть руками. Это потом я думал, что надо было орать во все горло и звать на помощь, а тогда я просто постеснялся. Как же, генеральный директор предприятия Фонда культуры, солидный человек – и вдруг будет орать на всю улицу! Меня очень ловко втолкнули в машину на заднее сиденье, где мое тело приняла еще одна пара рук. Мне тут же, обдав вонью прокуренных легких, посоветовали не дергаться и прижали к горлу что-то зловеще холодное и острое. Машина рванула с места и выскочила со двора на проспект.

Никто со мной всю дорогу не разговаривал. И у меня тоже желания говорить не было – слишком красноречиво и откровенно впивалось мне в горло острие. Сколько и каких мыслей промелькнуло у меня в голове за все время дороги, сейчас уже не вспомнить. Не начал я вырываться и истошно кричать только потому, что все еще не верил, что эти люди способны на все. Я все еще надеялся, что это только спектакль, угроза, попытка напугать меня, сломить мою волю.

Вывезли меня в лес, километров за тридцать от города. Что это была за свалка, я не знал. Я вообще не узнавал этих мест. Что-то похожее на самовольно сваленные каким-то хозяйством мешки с просроченными удобрениями или химикатами. Ну и, конечно, добавленный к этому бытовой мусор в приличном количестве. Кто-то недавно пытался все это безобразие закопать, потому что виднелись следы работы трактора.

Меня грубо выпихнули из машины так, что я не удержался на ногах и упал на бок. Это было унизительно, но и разозлило меня до состояния бешенства. Все-таки к тому времени я успел сжиться с собственным возросшим самомнением успешного человека, к которому окружающие относятся с большим уважением. А тут… чуть ли не пинком!

Вареный стоял передо мной и криво, брезгливо усмехался. Трое подручных толпились вокруг него и смотрели на меня с тупыми ухмылками, чего-то ожидая. Сзади хлопнули дверки «Хонды», и кто-то из моих конвоиров пнул меня под копчик.

Я поднялся под взглядами молчавших бандитов, чувствуя, что они только ждут команды, только одного кивка, чтобы наброситься, обрушить град ударов, свалить на землю и с шумными хриплыми выдохами и матерщиной пинать мое корчащееся тело. И совсем неуместно сияло склоняющееся к горизонту солнце, совсем некстати заливались над полем жаворонки. И уж совсем глупо прогудел где-то вдалеке паровоз. Все было очень нелепым вокруг меня, как из другого мира. Или это я попал в другой мир, и только вижу и слышу отголоски привычного мне? А в этом есть только наглые, жаждущие расправы и крови рожи, есть только глаза Вареного, недовольные, брезгливые, уверенные и равнодушные ко мне как к личности?..

– Ты че, сынок, – спросил Вареный, – играть со мной вздумал? Тебе не говорили в детстве, что ссать против ветра вредно для здоровья? Борзеешь, что ли?

– Ты думаешь, что я испугался? – хрипло спросил я. Меня как будто подменили, и я уже не столько боялся, сколько ненавидел эту толпу. – Тебе что, все можно? Торгашей на базаре обирай…

Договорить я не успел, и не успел заметить, что Вареный подал кому-то знак. Удар сзади пришелся в поясницу правее позвоночника. У меня сразу перехватило дыхание, а бок пронзило острой болью. Мне даже подумалось, что меня ударили ножом, но потом я понял, что это всего лишь мастерский удар кулаком по почкам. От боли меня непроизвольно согнуло пополам, но я устоял на ногах каким-то чудом. Наверное, мне не хотелось валяться у них в ногах, хотелось до последнего не уронить достоинства.

Устоять мне удалось, но ненадолго. Второй удар пришелся в лицо. Мелькнула чья-то серая кроссовка, и мой нос будто взорвался тысячей огненных искр. Они пронзили всю голову, до последней клеточки мозга. И я не сумел сдержать крик. Схватившись руками за лицо, я повалился вниз на траву, чувствуя, что мои ладони полны крови, а из глаз вместе с искрами хлынули слезы. Еще несколько ударов я просто не почувствовал, корчась от дикой боли в том месте, где раньше был нос, и рычал. Или вопил.

Идиот, орало мне в ответ мое существо, соглашайся на все, проси прощения, валяйся в ногах, как они это любят, иначе они тебя изувечат, сделают инвалидом! Другая часть моего существа, ослепленная болью и ненавистью, вопила о том, чтобы я встал и кинулся на них. Во мне кипела обида. Я, такой умный, удачливый, предприимчивый; я, которого уважают подчиненные и партнеры, – валяюсь на траве в дорогом костюме, с окровавленным лицом. А меня пинают – кто? Какие-то… не имеющие даже образования, не могущие организовать хоть какое-то дело! Тупые, злобные, выбирающиеся из подворотен в тяжелые для страны годы и измывающиеся над гражданами, упивающиеся своей безнаказанностью. Вас же скоро снова загонят в ваши грязные дыры! Дайте только срок, вот Горбачев справится с ситуацией в стране, и загонят!

Думал я так, или я так орал, обливаясь кровью? Теперь уже не вспомнишь. Помню только, что я как-то опять оказался на ногах, помню расплывающиеся передо мной гадкие наглые рожи. И огромную обиду, что в мою наладившуюся жизнь вмешались какие-то… крысы…

Лицо Вареного снова выплыло на передний план. И не только лицо. Я очень хорошо понял, почему его правая рука пролезла за спину под рубашку навыпуск. Это было очень красноречиво и хорошо знакомо по западным боевикам, которыми наводнили нашу страну. Пистолет был небольшой, черный, с коричневыми накладками на рукоятке. Вареный медленно и со смаком оттянул ствольную накладку и отпустил. Послышался металлический звонкий щелчок.

Я не верил, что меня убьют, не верил, что они решатся на это, потому что меня будут искать, потому что многие знают, кто на меня «наехал». Потому что это вообще невероятно, по моему мнению, в наше время. А когда ствол опустился вниз и один за одним грохнули три выстрела, я с удовлетворением понял, что был прав. Пугают!

Пули одна за другой вреза´лись возле моих ног в землю. Я даже успевал услышать каждый раз глухой стук. Но я не

шелохнулся, не стал подпрыгивать и приплясывать. Наверное, злую шутку со мной сыграла уверенность. Я просто не испугался. А может, я был до такой степени в шоковом состоянии, что выстрелы под ноги уже не могли меня напугать.

Кажется, сквозь кровь и стон, которыми сопровождались все мимические движения моего лица, я еще угрожал и кричал что-то уничижительное, оскорбительное. А потом я испугался по-настоящему. Я увидел в глазах Вареного, которые вдруг прищурились, лютую злобу, сулящую смерть. И я сразу замолчал. Точнее, у меня в горле встали комом все слова. Вареный что-то цыкнул сквозь зубы пареньку слева от себя, и тот шагнул ко мне.

Фигура парня мелькнула передо мной в непонятной позе, потому что в глазах у меня двоилось. В грудь мне как будто врезался паровой молот, и я оторвался от земли. И сразу стало легко. Я не смог дышать, но состояние полета было приятно. А потом я ударился всем телом. О землю.

Голоса приблизились. Их было много, они были гулкими, двоились и, кажется, троились, как эхо в горах. Перед глазами у меня все плыло, а внутри было смертельно холодно. Не где-то только под ложечкой, всюду внутри. Я еще попытался встать, я возился на земле и все время падал. Кто-то схватил меня за пиджак и легко приподнял над землей. Меня развернули в воздухе, как балку на подъемном кране, и что-то спросили. Угрожающе. Я увидел перед собой свежую неглубокую яму со следами ковша экскаватора на дне.

Я ничего не отвечал, потому что смотрел на яму как завороженный. Плохо, отвратительно пахло сырой землей. Почему-то всплыли нехорошие ассоциации с этим запахом. Пожелтевшие лица в гробу, трупный запах, слезы родственников… Если тебе нет и тридцати, то наверняка ты обязательно разок-другой в своей жизни был свидетелем такого события.

Дальше все было как в замедленном кино. Я стоял на трясущихся ногах на краю ямы и видел, как Вареный протягивает пистолет тому пареньку. И видел, какое у паренька бледное лицо. И слышал голос Вареного. Он был злой, недовольный, но понимал я его урывками.

– Он дурной… в ментовку побежит… говорил тебе… давай, вали его, падлу…

Звук выстрела был тоже как на магнитофонной пленке, когда придерживаешь катушку с лентой и низкий звук слышится как отрывистые гулкие «бу… бу… бу». Мне опалило грудь, когда я, кажется, попытался броситься бежать. Потом еще один такой же страшный затяжной низкий звук выстрела, еще один… Всю

правую сторону мне рвало огненными щипцами. Кажется, я закричал, а потом земли под ногами не оказалось. И я ударился всем телом, всей правой стороной во что-то огненное. Сознание вспыхнуло в последний раз и поплыло куда-то в сторону и вдаль. Кажется, еще дважды сверху «бухнуло», разорвало мне кожу на затылке, а потом была горячая темнота.

«BugorS». Лидерские качества у человека наверняка были, а вот сообразительности не хватило. Одно дело – ученикам уши крутить, а другое дело – бизнес. Да еще в то время. У нас одну семью, помнится, прямо в машине заживо сожгли.

«Сэм». Психопатическая личность. Нечего на рожон лезть, если уж до этого дошло. Чего вы о нем пишете, как о нормальном?

«Кэт». А ты переживи такое сам! Легко рассуждать, когда самого это не коснулось.

18 июня 2010 г.

12:01

Было очень холодно – до такой степени, что, казалось, внутри у меня сплошной лед. А может, и снаружи, может, я был вплавлен в ледяную глыбу. И этот лед сковал все мое тело страшными тисками, отчего было трудно дышать. Сознание возвращалось, но я ничего не помнил. Странно, правда? Не знаю, какие уж там особенности человеческой психики сработали, но в голове было пусто. Потом стала возвращаться боль. Я почувствовал, как ноет затылок, как страшно ноет правая сторона груди и правое плечо. Холодно, липко, тяжко, как в могиле.

Ничего более страшного я в своей жизни не испытывал – ни до того, ни после. Как только в голову пришло сравнение с могилой, я сразу понял, что на меня давит сырая земля, что дышать мне трудно из-за того, что рот и нос забивает все та же земля. Секунды, а может, минуту, а может, и часы животного ужаса скрутили меня в клубок нервов. Очень трудно сказать, сколько длилось это состояние, а потом началась истерика. Я перестал контролировать себя и ощущал только ужас. Я бился, царапал землю ногтями; может, даже пытался кричать… не знаю. А потом, наверное, у меня случился обморок.

Затем снова наступило просветление. Чувство безысходности захлестнуло меня до такой степени, что я заплакал. Мне было жалко себя, жалко всей своей жизни. И дикие силы проснулись во мне. Я весь напрягся, у меня скрипели мышцы и кости, страшная боль в правой части туловища только добавляла мне силищи. И я понял, что земля надо мной поддается. Посыпалась, зашевелилась… страшный кашель от земляной пыли не давал дышать, но от этого сил только прибавилось. Потому что я знал, что если сейчас не глотну свежего воздуха, то задохнусь.

И я победил. Земля отпустила меня, я уперся руками, и моя спина оказалась снаружи. Еще рывок, какой-то звериный вой вырвался из моей груди, и я повалился на рыхлую землю боком. Все, по пояс я был уже снаружи. Я кашлял, отхаркивался, слюни вперемешку с землей текли по моему подбородку. Потом меня вырвало. Сначала были рвотные массы, а потом пустой желудок только сжимался спазмами, сводил меня судорогами. И продолжалось это целую вечность.

Мне снова стало холодно. Трясло и колотило так, что руки и голова ходили ходуном. Вокруг была ночь, ясное небо бесстрастно светило холодными равнодушными звездами. Мне захотелось съежиться, обхватить себя руками за плечи, но что-то

мне мешало. Не слушалась правая рука, не слушались ноги. Они почему-то оказались под рыхлой землей, и мне пришлось очень долго возиться, чтобы освободить себя.

Это потом, в больнице, я стал понимать, что мозг сберег мой рассудок, лишив меня воспоминаний о последних часах жизни. Вспомни я все сразу же, как только пришел в себя под землей, и помешательство было бы мне гарантировано. Редкий рассудок способен вынести такое.

Я вообще о многом передумал в больничной палате. Память возвращалась поэтапно, небольшими эпизодами. И в теплой светлой палате я мог уже реагировать на эти страшные воспоминания более спокойно. Постепенно вспомнил, как меня привезли в то место, как меня убивали. Сообразил я и то, что над моим телом земли было всего-то сантиметров сорок, а то бы мне ни за что не выбраться. Не помнил я только, как попал в больницу, как вообще куда-то шел или полз. А врач, молодой лысый толстячок, мне ничего не рассказывал.

Все разговоры, что происходили между нами, касались только моего самочувствия. Я узнал, что от страшной потери крови меня спасла именно земля, забившая раны. От смерти спасла меня моя отличнейшая кровь, которая активно боролась с воспалением, и, конечно, здоровое сердце, справившееся со всем этим.

Он говорил мне о чудесах человеческого организма, о том, что в медицине еще и не такое известно, а я думал о своем везении. Повезло, что Вареный велел стрелять в меня малоопытному парнишке. Ясно, что хотел его потренировать, привязать к своей банде кровью, но меня это спасло. Оказалось, что одна пуля прошла по грудной клетке вскользь, разорвав кожу, мышцы и задев ребра. Еще одна пуля прошла через правое плечо чуть ниже сустава в мягких тканях. И контрольный выстрел в голову, как я его понял, потому что в тот момент уже лежал в яме, тоже не получился: пуля снова прошла вскользь по черепу, распоров кожу так, что та вскрылась конвертом. Наверное, для юнца рана выглядела ужасно, как развороченный череп. И кровищи сразу было много.

Милиция приехала ко мне на второй день, как только я пришел в себя. Я еще не все вспомнил, еще плохо соображал и вообще был слишком слаб. Но интуиция подсказала мне, что пока нужно молчать. И я ссылался на то, что ничего не помню. Врач охотно подтвердил возможность ретроградной амнезии, и милицию я больше не видел в течение пары недель. Этого времени мне хватило, чтобы вспомнить, что документов при мне не было. И лежал я не в какой-то клинике областного центра, а в

районной больнице. Значит, меня – Георгия Павлова – дома считают без вести пропавшим. А как поступит Вареный, когда узнает, что я жив? Предпримет попытку меня срочно убить. Ведь и тогда в лесу меня решили убить именно потому, что я не испугался и мог заявить в милицию. Ему эта канитель была не нужна, не нужна она ему и теперь.

Значит, я жив, пока считаюсь пропавшим или мертвым. Но рано или поздно мою личность установят. Значит, как только я выйду из больницы, мне сразу начнет угрожать смертельная опасность. И я, как только сообразил все это, сразу же вспомнил все, что со мной произошло. И снова меня обуял животный страх. Я хотел жить! Я любил жить, я в той могиле ногтями и зубами боролся за нее. Ох, как мне не хотелось умирать снова!

Надеяться на милицию я и не собирался. Кому вообще есть до меня дело? Напишу я заявление, начнут проверять, допрашивать, выезжать на место преступления… кстати, я не знаю, где оно находится. Пока что-то выяснят, пока соберут хоть какие-то доказательства вины Вареного, хоть какие-то улики, пройдет масса времени. А он-то узнает, что я заявил. И времени у него, чтобы убить меня, будет более чем достаточно. Значит, выход у меня один – убить Вареного.

Я пришел к этой мысли и целый день испытывал противоречивые чувства. У меня даже поднялась температура. Но постепенно страх сменился уверенностью в собственной правоте, решимостью и пониманием, что другого выхода у меня нет. А потом, только потом я стал думать о том, как убью Вареного. И пришло желание мести, желание, чтобы он испытал все то, что испытал я. Втоптать его в землю, изрешетить его пулями, размазать!.. Ох, как я теперь его ненавидел! Ненавидел за все: за пережитое, за сломанное счастье, сломанную жизнь. Я уже понимал в то время, что прежней жизни мне не видать, что все теперь пойдет по-другому. Все будет плохо…

А еще я понимал, что на всем белом свете мне не поможет никто…

Оля приехала через четыре дня после визита милиции. До сих пор помню выражение ее лица, на котором отражались сначала надежда, потом сомнения, а потом ужас, потому что в этом худом человеке с ввалившимися глазами и сединой она все же узнала своего мужа. Плакала она минут тридцать, вскакивая с края моей кровати и падая мне на грудь, потом отстраняясь, жадно всматриваясь в лицо, как будто сверяясь, что это все еще я.

Врач оставил нас наедине, как только понял, что молодая женщина узнала во мне своего мужа. И это было хорошо для моих планов. Я не стал ничего рассказывать Ольге, ссылаясь все на ту

же потерю памяти. Зато я подробно выяснил у нее все, касающееся того, как она узнала, что я нахожусь здесь.

Как я и предполагал, моим делом в милиции занимались ни шатко ни валко. Я плохо представляю, как там у них все это происходит, но как-то, видимо, происходит. Ведь заявления о пропаже людей они принимают, как я слышал. Правда, не слышал, чтобы кого-то находили. Тем не менее Ольгу отправили сюда одну, а не привезли со следователем, чтобы запротоколировать опознание ею своего мужа. Значит, посоветовали съездить самой и посмотреть. Ну и хрен с ними, не это сейчас главное.

Главное было то, что Ольга никому не успела сказать, что отправилась в район посмотреть на раненого, потерявшего память человека без документов. Значит, и в милиции мою личность считают пока неустановленной. Ольга была удивлена, что я так подробно расспрашивал ее. И мне все же удалось вытянуть из нее, что приходил участковый. Что он посоветовал сюда съездить. Что большого энтузиазма он не выказывал – так, дежурный визит и выполнение просьбы какого-то инспектора.

Очень большого труда мне стоило убедить жену, чтобы она никому не сообщала о своей радости. Оставался врач, от которого факт не скроешь, но врач вряд ли кинется сам звонить в милицию областного центра. По крайней мере, не сразу и не завтра. А пока я делал вид, что жену не узнаю, но верю ей. Нужно было продержаться еще несколько дней, прежде чем меня выпишут под расписку.

Через восемь дней переполненная страхами Ольга забрала меня из больницы в местную гостиницу. Она хорошо усвоила то, что мне угрожает опасность, что разглашать тайну моего воскрешения пока еще не нужно. Но посвящать в подробности своих планов я ее, конечно же, не стал. Уходя вечерами из гостиницы и оставляя Ольгу, бледную от страха, одну, я убеждал ее, что встречаюсь с работниками милиции, которые расследуют мое дело. На самом же деле я приучал жену к своим ежевечерним отлучкам.

А потом я стал наведываться в город, благо что автобусы ходили несколько раз в день, а с прошлого года еще и электричку пустили. Как найти Вареного, я не имел никакого представления, поэтому бесцельно шлялся по проспекту, закрывая лицо воротником куртки и старательно меняя походку. В зеркале я себя после выздоровления видел, поэтому понимал, что в этом старике узнать прежнего Георгия Павлова сложно.

Я проходил мимо приблатненных компаний, останавливался возле открытых уличных кафе, где вечерами выпивали и

веселились типичные криминальные личности. Я вглядывался во все встречающиеся лица, пытаясь вспомнить хоть кого-то из тех, кто присутствовал при моем убийстве. И когда мне неожиданно повезло, я отнесся к этому как к само собой разумеющемуся. Я просто уверен был, что найду их.

Я встретил того паренька, который в меня стрелял. Ни шока, ни всплеска ужаса, вызванного воспоминаниями, ничего. Я смотрел на него, сидящего с каким-то приятелем и двумя девицами под навесом кафе, и мысленно ставил галочку. Первый этап выполнен – я нашел. И как-то сразу я принял решение, что этого паренька я тоже убью. Ему на земле места нет, потому что он бандит, убийца, мразь, нелюдь. Вот он сидит – разрумянившийся, с мутной наволочью в глазах от выпитого пива, развалившийся, самодовольный. Гаденыш! А как побледнел-то, когда Вареный сунул ему в руку пистолет! И руки тряслись, и не смог убить… Вот и расплата.

Я понимал, что следить за парнем и узнать его место жительства мне не удастся. Наверняка они рванут отсюда на машине, смогу ли я быстро поймать такси или «частника» – вопрос. Надо было что-то предпринимать прямо сейчас. И я стал думать.

Наверное, со стороны покажется странным, что обычный человек, педагог, и вдруг спокойно анализирует, готовит убийство… Только я уже не был обычным человеком. Я был мертвецом, который вернулся с того света, чтобы отомстить, чтобы искоренить зло и чтобы мне самому было безопасно ходить по своему же городу.

Детективы я, как и многие, почитывал, даже любил. А в детективах, если их пишут люди, разбирающиеся в этом, можно почерпнуть много полезного. Например, я помнил, что при нанесении удара ножом убийца обязательно забрызгается кровью жертвы. Без крови убить можно, если жертву, скажем, задушить. Но только у меня еще не было столько сил, чтобы справиться с парнем, который к тому же демонстрирует свои накачанные бицепсы. А еще я читал, что в уголовной среде частенько фигурирует такое орудие убийства, как «заточка». Это или просто заточенный кусок металла, кустарно изготовленное подобие ножа, или острый пруток, подобие длинного шила. И читал я, что от такого орудия крови в момент нанесения удара почти не бывает.

Уже через час я вернулся с изготовленным орудием правосудия и мести – куском стального прутка толщиной около трех миллиметров. Сталь была отличная, упругая. Правда, пришлось потрудиться, чтобы заострить кончик до состояния

швейной иглы. Ручку я изготовил просто – согнув вдвое и обмотав противоположный конец своего «шила» огромным количеством купленной в магазине изоляционной ленты.

К парню я подошел со спины, когда начало темнеть. Его приятель был увлечен рассказом очередного анекдота, поэтому мое присутствие заметил не сразу.

– Меня Вареный послал, – шепнул я своей жертве на ухо, согнувшись за его спиной и пряча лицо от компании. – Пошли со мной, он тебя срочно ждет.

Ткнув для убедительности парня кулаком в плечо, я быстрым шагом пошел к выходу из кафе. Один раз я все же оглянулся. Он спешил следом с готовностью, послушно. Мне стало даже смешно. Так спешить на казнь?

Вот и присмотренная подворотня, и небольшой двор среди купеческих двухэтажных домиков, где было несколько дверей. «Ремонт обуви», какое-то РА «Взлет» и просто «Нивея» без указания рода деятельности. Сейчас все эти офисы были закрыты и дворик утопал в темноте. Действовать я должен был быстро, пока накачанный пивом парень не подумал ничего плохого.

Когда нас уже не было видно с проспекта, я круто развернулся, взял парня за рукав и потянул в сторону. Он машинально сделал шаг в эту сторону, но я уловил начало сопротивления его тела, потому что здесь никого, кроме нас, не было. Моя жертва хотя и была налита пивом по самые брови, но все же еще что-то соображала. Я тут же развернулся к нему всем корпусом и уткнул в грудную клетку пониже левого соска свою «заточку».

Вряд ли он меня узнал, потому что я сильно изменился за время выздоровления и потому что тут было темно. Но я приложил свое оружие с таким нажимом, чтобы он понял, что одно его движение, один возглас – и ему не жить.

– Где мне найти Вареного? – прорычал я, глядя с ненавистью на перепуганного детину.

Одним словом, он мне все рассказал. Почему он так испугался, я понял уже потом. Худое лицо со складками преждевременных морщин, еще не отросшие после бритья волосы, когда мне залечивали страшную рану на голове, – все это, наверное, делало меня похожим на матерого уголовника. Да и глаза мои в темноте сверкали очень недобро.

А потом я решительно и резко навалился всем телом на свою «заточку». Удивительно, как легко пруток вошел в тело. Я даже почувствовал, как острие, прошедшее насквозь, царапнуло штукатурку стены дома, к которой он был прижат спиной. Его глаза еще были выпучены и наполнены ужасом, рот широко

открыт, а тело уже валилось набок. А острие все царапало сзади штукатурку, царапало… Потом он упал. И в темноте я видел, что вокруг штыря, торчавшего из сердца, только небольшое темное пятнышко крови на футболке.

Вернулся к жене в гостиницу я очень поздно ночью. Никаких следов крови, никакого раскаяния или чувства жалости. Я видел лицо моего убийцы, я видел на нем выражение страха. И этого мне было достаточно. Оля удивилась тому, что я так возбужден, но я сослался на визит в милицию, где проводилось предварительное опознание возможных преступников. Она поверила.

Купить пистолет оказалось просто. Наверное, мое лицо в его нынешнем состоянии вызывало доверие. А еще я не торговался. Через два дня у меня был старенький потертый наган и два десятка патронов к нему. Я потратил день, чтобы уйти далеко в лес и опробовать оружие. Прицельной стрельбы от меня не требовалось, потому что я сразу отказался от такой затеи, как убивать на большом расстоянии. Я воспользовался опять же методикой, почерпнутой из детективов. Ватная, небольшого размера подушка, которую можно вполне спрятать под просторной одеждой, должна была выполнить роль глушителя. И все возможные варианты я там же в лесу испробовал. И так же тщательно, набив камнями, утопил подушку в пруду.

Вареного я выслеживал три дня. На четвертый – я стоял в темноте среди деревьев возле его дома. Ждать пришлось долго, но около двух ночи он приехал. Его «БМВ» с заметной радиаторной решеткой появился из-за дома, и я отступил на свою позицию. Я знал, что он ставит машину всегда на одно и то же место, и никто не осмеливается это место занять. Вареный развернулся и стал сдавать задом к забору. Последний толчок, и машина остановилась. Стекло с водительской стороны было опущено, что облегчало мою задачу.

И опять я скажу, что никакой жалости, никакого смятения я не испытывал. Я ненавидел это лицо, эти глаза, этот голос. Сейчас для меня это был даже не человек, а олицетворение зла. Тупого, безжалостного, наглого, мерзкого. Зла, которое втоптало меня в грязь, которое запросто убило меня. Просто так, по прихоти. Зла, которое считало себя вправе распоряжаться всем и всеми. Даже человеческими жизнями. Представляете, жизнями людей, которых он до этого и в глаза не видел? Это зло пришло, приметило камин и захотело его. А человек, который попытался противиться, был брезгливо убит. Как таракан, как червяк.

А еще это зло было для меня опасно, оно могло меня снова убить. И убило бы обязательно. И я выстрелил. Выхватил из-под

полы куртки свою ватную подушечку, сунул в нее ствол нагана и дважды выстрелил в голову бандита. И на виске, куда со стуком ударились пули и проделали две аккуратные дырочки, вдруг толчками стала выплескиваться кровь. Я слушал бульканье и понимал, что Вареный мертв. Не мог он с такими бульканьями остаться живым.

И мне стало очень спокойно. Я даже уже забыл, что такое состояние покоя может существовать. Тихая летняя ночь, звезды, тихое урчание двигателя машины, а за рулем труп. И этот труп мне уже не страшен, не опасен, ничем больше мне не может угрожать. Как это хорошо, и как все просто получилось…

Я хотел плюнуть в салон машины, но мне не захотелось, чтобы даже моя слюна соприкасалась с этой мразью. И я ушел. По пути выбросил в мусорный бак пробитую подушку, предварительно засунув в нее пистолет. Утром, чуть свет, приедет мусорная машина, заберет мусор и вывезет его на загородную свалку. Машина к утру заглохнет, и не скоро кто-то сообразит, что водитель в ее кабине мертв.

Свобода! Через неделю можно проявить признаки, что ко мне возвращается память. А потом потихоньку возвращаться к обычной жизни. И как все просто! Как я вас понимаю, робингуды, мстители и защитники страждущих и обиженных!..

«Пашка». Я вот не знаю, что там дальше произошло, но думаю, что человека в этом Павлове можно было спасти. Если бы в нашей стране судили не по букве закона, тупо арифметически подсчитывая, под какую статью поступок подпадает, а как в Америке. Там ведь суд ориентируется на прецеденты, которые имелись в истории судебной практики. А ведь он жизнь свою спасал.

«Лорик». Ну давайте теперь направо и налево всех крошить. Закон должен исполняться, потому что он для этого и писан, и принят. А если к нему относиться, как к вывеске на магазине – хочу захожу, хочу прохожу мимо, – то это будет уже не цивилизованное государство, а банда Махно.

«Пашка». А я его и не оправдываю. Я говорю, что человеку можно было помочь еще тогда, а у нас всем на всех нас…ть. И тогда, и сейчас. А про Махно ты так зря! Что ты про него вообще знаешь?

20 июня 2010 г.

11:41

Наверное, я все рассчитал правильно. Ольга даже не догадалась, где я мог пропадать вечерами и ночами. Просто я сказал ей, что уже не опасно, что милиция приняла меры. И еще я сказал, что память у меня так и не восстановилась. Помню, как в день своего исчезновения вышел с работы, помню, как ехал домой. А потом – пустота. И я осознал себя уже на больничной койке. Я сделал все, чтобы в милиции разговаривать без жены. И это у меня получилось. Там я также заявил, что ничего, связанного с нанесением мне телесных повреждений, не помню. Материального ущерба мне не нанесли, потому что часы с руки не пропали, а больших денег при мне не было. Кажется, в результате дело так благополучно и закрыли.

Что касается моих жертв, то о них я тоже больше ничего не слышал. Может, какие-то разборки в уголовной среде и были. Милиция формально наверняка занималась расследованием этих двух убийств. Только, как я думаю, уж я-то в ряды подозреваемых просто не мог попасть. Хотя бы потому, что никто не знал, что убивали меня именно эти двое. Да и врачи не задумываясь подтвердили у меня потерю памяти.

В моем творческом объединении меня встретили с такой радостью, что я чуть не заплакал. Только… только вот все полагали, что я умер. А предприятие не может оставаться без первого лица, поэтому руководство Фонда культуры, как учредитель предприятия, предприняло определенные шаги и оформило доверенность на право управления предприятием на другого человека. Звали его Сергей, был он человеком разворотливым, предприимчивым. И дела у него сразу же пошли в гору. А если учесть, что мне как минимум еще с месяц надо было бы полечиться, походить на физиопроцедуры, то фактически Сергей рулил моим творческим объединением почти два месяца.

Когда я почувствовал себя в силах вернуться на работу, хотя по медицинским показаниям был еще формально нетрудоспособен, то так и оставил за Сергеем львиную долю обязанностей. Фактически он остался моим первым заместителем. Зарабатывали мы тогда хорошо, поэтому еще один приличный оклад предприятие вполне выдержало. И помощь от Сергея была значительная.

А я чувствовал, что прежней энергии во мне уже нет. Трудно двумя словами описать то, что во мне изменилось. Постарел я, что ли, в самом деле… Судачили, что я даже разговаривать стал

медленнее. А еще говорили, только это уж совсем по секрету и сугубо за моей спиной, – что у меня глаза стали мертвые. Или безжизненные, не помню точно. Но мне в самом деле стало труднее общаться с людьми. Смотрел я на своих подчиненных, и казались они мне маленькими наивными детишками. Со своими глупыми инфантильными восторгами, со своими мелкими интересами в виде покупок мебели, шуб, хорошего балыка…

Все чаще и чаще я ловил себя на том, что мне хочется посидеть одному. Посидеть и просто поглядеть перед собой. Без мыслей, без воспоминаний. Если честно, то жизнь во мне поддерживала Ольга и ожидание ребенка. Мне даже с мамой тяжело было общаться, потому что она начинала суетиться, справляться о здоровье, беспокоиться, искать какие-то симптомы болезни. А вот Оля ничего не искала. Она ждала ребенка и была счастлива. И я, когда думал об этом, был почти счастлив. Почти, потому что все могло быть еще лучше, если бы… если бы я не прошел через смерть.

А потом, когда я вышел снова на работу, меня стали мучить ночные кошмары. Наверное, какие-то очередные загадки человеческой психики. Пока я был отстранен от своего выставочного зала, пока я был в другом городе, даже просто в своей квартире, мне ничего не напоминало о Вареном. А вот в салоне, едва я снова увидел злополучный кованый каминный фасад, ассоциации, воспоминания, еще что-то вновь ожили и стали приходить ко мне по ночам.

И я стал не просто угрюмым и молчаливым – я чувствовал, что становлюсь раздражительным. Что-то внутри меня закипало при первом же намеке на недовольство чем-то или кем-то. Но я очень старался сдерживаться! Это стоило огромных усилий, это выматывало, но я пытался со всеми вести себя ровно, приветливо.

Очень странно мне было смотреть на человека, терпеть его рассуждения, а уж тем более поступки, которые шли вразрез с моими убеждениями и представлениями. Все мне казались глупыми, наивными, какими-то поверхностными в суждениях. Отдыхал я душевно и эмоционально только дома. Но и здесь судьба приготовила мне испытание…

Постоянно погруженный в себя, занятый борьбой с собой, я не замечал, что изо дня в день, из месяца в месяц моя Оля меняется. Не так, как это положено беременной женщине, а совсем по-другому. Чем ближе к родам, тем меньше счастья было в ее глазах. Обо всем я узнал потом от близких людей, от моей мамы, которая, кстати, все знала.

Наконец Оля мне все рассказала. Оказалось, что врачи ставили ей неутешительные прогнозы и настаивали на том, чтобы

положить ее в больницу «на сохранение». Я испугался. Стыдно признаться, но я испугался не за жизнь жены, не за жизнь будущего ребенка. Мне было страшно, что рухнет мечта, надежда, рухнет то единственное, что было светлым и теплым в моей жизни. Наверное, это эгоизм с моей стороны.

И я бросился с головой в проблемы моей жены. Уложил ее в больницу, искал лучших врачей для консультации, следовал всем предписаниям в режиме и питании Ольги; стал деспотом, самым строгим в мире мужем. И все потому, что я боролся за свое счастье, за то, чтобы вырваться наконец из ночных кошмаров, из холода могилы, который меня преследовал. А вырваться я мог, только получив тепло отцовства, тепло полноценной семьи.

Меня, конечно, все успокаивали. Мол, ничего страшного, обычное дело, у женщин такое бывает. И вообще на дворе конец двадцатого века, и медицина достигла таких высот, что особенно волноваться не из-за чего. И даже Ольга как-то успокоилась перед родами. Или мне за моими личными переживаниями так казалось.

Я ушел от жены в восемь вечера, нагрузив ее обычными наказами и требованиями. Она помахала мне ручкой, свободной от пакетов, и стала подниматься по лестнице наверх, на второй этаж, где находилась ее палата. Я долго провожал взглядом ее фигуру, как она придерживает руками живот и раскачивается при ходьбе, как утка. Наверное, я что-то предчувствовал. А может, я просто каждый день ждал беды или неприятностей.

Дома я долго не мог уснуть. Сон как отрезало, и я лежал в темноте, тупо уставясь в потолок. Даже мысли никакие в голову не лезли. Такая странная пустота, что даже неприятно. Тревожно как-то. Потом я, наверное, все же уснул. А в три часа ночи проснулся как от толчка. Почему-то болезненно сжалось сердце. Оля! Первая же мысль была о ней.

И громом небесным ударил телефонный звонок. Во рту у меня мгновенно пересохло. Я никак не мог нашарить ногой тапочки, потом плюнул, выругался и бросился босиком в коридор. Дрожащей рукой я сорвал трубку и только с третьей попытки справился со своим голосом, более или менее членораздельно выдавив из себя слово «да».

– Георгий? – обратился незнакомый женский голос. – У Ольги воды отошли, схватки начались. Ее повезли рожать.

– Кто это? – чуть ли не заорал я в трубку.

– Это соседка по палате. Оля просила позвонить вам, как у нее начнется.

– Спасибо вам большое, – торопливо затараторил я. – Как она, нормально? На ваш взгляд? Что врачи говорили…

– Да вы не волнуйтесь, нормально все. Как родит – мы вам обязательно позвоним. Вы и сами можете позвонить, вам в приемной скажут, кого родила и на сколько. Все будет хорошо.

Какого черта! Буду я ждать! Телефонную трубку до самого утра грызть? Хренушки! Я стал быстро собираться. Ногой долго не мог попасть в штанину брюк, потом кинулся к шкафу и вспомнил, что постиранные рубашки я так и не погладил. Плевать! Я схватил вчерашнюю, которая валялась на кресле и немного помялась. Носки? Некогда искать свежие.

Из дома я выскочил, наверное, минут через пять. И только на лестнице вспомнил про бумажник. Пощупал карманы куртки – на месте. Сдерживаясь, чтобы с быстрого шага не перейти на бег, вышел из подъезда в ночь. Спокойно, говорил я себе, спокойно. Роды – дело небыстрое, все равно у тебя несколько часов в запасе. Но уговоры не действовали, мне до зарезу нужно было быть там, рядом. Узнать в тот же миг, как все прошло.

Вот и проезжая часть. И, как назло, ни одной машины! Топтаться на месте, меряя шагами тротуар, я не мог, терпения не хватало. И я быстрым шагом по краю проезжей части двинулся в сторону роддома. Не будет машин, так за полчаса я и пешком дойду. Хоть так, только бы не сидеть и не ждать. Только бы чем-нибудь себя занять, хоть каким-то действием…

Звук автомобильного мотора я уловил сразу. Развернулся и стал жадно шарить глазами вдоль улицы, надеясь, что машина едет по ней, а не по той, которая ее пересекает. Вот и фары! Я поднимаю руку и с огромным трудом разжимаю кулак, чтобы махать раскрытой ладонью. Пальцы у меня были белыми. Наверное, я от самого дома шел со сжатыми кулаками.

Машина притормаживает возле тротуара, я делаю шаг назад и заглядываю сквозь стекло на водителя. Но он газует, так и не остановившись, и рвет машину вперед. Какого черта? Чем я ему не понравился? На бомжа не похож, ясно, что человек при деньгах.

Потер лицо, чтобы хоть немного снять напряжение, и уже руками ощутил, что оно у меня сведено как судорогой. Как будто маска какая-то надета. Черт, я, наверное, того водителя просто выражением лица напугал. Он меня за пьяного или ненормального принял. Нельзя же так, надо взять себя в руки.

Потом я сидел на лавке под окнами роддома. Меня трясло не от предутренней прохлады, а от волнения, и приходилось обхватывать себя руками за плечи. Иногда я порывался встать и начать ходить вдоль здания, но меня не держали ноги. И я снова садился, обхватив себя за плечи. Что было дальше, описать просто невозможно; язык не поворачивается рассказать, что со

мной творилось, когда ни в шесть, ни в восемь, ни в десять утра мне никто толком ничего не говорил. А потом у меня просто кончились душевные силы, и я сидел в приемном отделении опустошенный, апатичный, обреченный… смирившийся с бедой, о которой еще не знал, но которую давно предчувствовал.

Я даже не знаю, сколько было времени на часах, когда меня позвали наверх. И я пошел за медсестрой как в тумане, беспрестанно оступаясь на ступенях, стукаясь плечами о дверные косяки. В каком-то кабинете дородная женщина в белом халате, в очках в золотой оправе стала говорить мне о патологии, неправильном расположении плода, прекращении родовой деятельности, еще о чем-то… Я смотрел ей в глаза и не понимал слов. Их смысл дошел до меня, когда прозвучало, что перед бригадой встал выбор, кого спасать: мать или ребенка. У ребенка шансов практически не было, а у матери были…

Ребенка у меня нет! Он умер! Вот что колом засело у меня в сознании. В голове было пусто, тело мое как будто накачали воздухом и я вот-вот взлечу. Женщина встала, подошла к шкафчику и открыла дверцу. Я увидел внутри несколько разнокалиберных бутылок коньяка. Она взяла одну, извлекла из глубины шкафчика две латунные стопочки.

– Выпейте, а то на вас лица нет, – сказала она. – И я с вами тоже. Очень тяжелое было дежурство. Выпейте и постарайтесь взять себя в руки. Вы же не человека потеряли, просто у вашей жены не родился ребенок.

Я выпил, не почувствовав вкуса, отметил машинально, что к Оле сейчас нельзя, потому что она в реанимационном отделении. Нужно было встать и идти. А куда? Я знал, чувствовал всей кожей, что за пределами этого кабинета пустота, пустыня, безлюдье. Пока я сижу, есть еще надежда, что сейчас все разрешится, что кто-то придет и скажет, что произошла ошибка, что все не так плохо. Я готов был с радостью кинуться на шею этой женщине, даже если она сейчас заявит, что пошутила и никто не умер, что ребенок благополучно родился, что вес у него три килограмма, рост – пятьдесят сантиметров… Но чуда не произошло. И я вышел. В безлюдье, пустыню, в пустоту…

Олю выписали через неделю со страшным приговором: она не сможет больше иметь детей. И в пустыню превратилась наша квартира. Оля целыми днями лежала, накрывшись пледом с головой. Я вставал утром, готовил ей лечебный завтрак, сам проглатывал пару бутербродов и уходил на работу. Там я выслушивал соболезнования, советы не отчаиваться. Но среди искренних утешений нет-нет да и проскакивали чьи-то слова, что врачи такие-сякие, что в больницах творится сплошной ужас, что

там по ночам все пьют, за больными ухода нет, что хирурги оперируют пьяными, что на пациентов всем наплевать, а серьезно относятся только к тем, кто платит деньги.

Постепенно «добрые» люди убедили меня, что сейчас медицина на высоте, что спасают даже безнадежных рожениц, трехмесячных недоношенных детей, что современная медицина и аппаратура творят чудеса. И самое главное, что в смерти моего ребенка, как и в том, что Ольга теперь не сможет иметь детей, виноват только врач. И я стал вспоминать это дородное лицо в очках в дорогой оправе, интонации, с которыми она мне рассказывала о смерти ребенка. Мне все больше и больше казалось, что говорила она это нарочито небрежно, как будто хотела побыстрее отделаться от назойливого мужчины. И даже казалось мне, что я улавливал нотки вины в ее голосе, что именно это мелькало в ее глазах.

Постарайтесь понять меня; ведь в тот момент, когда мне сказали, что у меня нет ребенка и никогда не будет, рухнуло все. Даже собственная жизнь для меня тогда не представляла ценности. Ценным был только мирок моего дома, моя мечта. А ее убили! Искалечили жену, а мечту убили! И это слово стало преследовать меня. Снова начались ночные кошмары. Я смотрел на людей, на город – и думал о том, что бандиты, чувствующие себя безнаказанными, ходят по улицам и калечат людям жизнь. Но это бандиты, уголовники. А ведь есть люди, которые, как оказалось, страшнее бандитов…

И я представил, сколько еще детей не родится, сколько еще женщин будет искалечено из-за этой врачихи. И я был не одинок в этом мнении – меня старательно убеждали в этом советчики, охаивая все и всех вокруг. Через месяц чувство ненависти достигло такого накала, что я уже не мог ни о чем думать, кроме того, как наказать ее, очистить землю от этой мрази. Во имя моего ребенка, во имя тех, кто еще может родиться!

И боже упаси еще кому-то испытать то, что испытал я, пройти через то, через что прошел я. А значит, я должен это сделать! Пусть лично для меня уже ничего не вернешь, пусть моя жизнь искалечена, но есть другие люди, невинные, чистые, светлые. Их-то зачем коснется вся эта грязь, вся мерзость нашей жизни? Больше никому она зла не принесет! Это даже не месть, хотя я ее ненавижу всем своим естеством. Это не кара, это больше и важнее – это защита невинных людей.

И я пошел. Всю дорогу, весь путь, что проделал пешком, я думал о своем решении. Но в этот день врачиха так и не появилась. Может, график дежурств у них изменился, может, какая другая причина была. И я стал приходить к роддому каждое

утро к девяти часам. И ждал до двух часов дня, надеясь, что вот наконец было ее дежурство, что вот она задержалась у начальства, но сейчас выйдет. Чем дольше я ждал, тем больше крепла моя убежденность в моей правоте. То, что я не мог ее дождаться, воспринималось почти что как ее попытка избежать смерти.

И я дождался. Какое это было облегчение! Не знаю даже, с чем сравнить. Ну, может, с такой ситуацией… Твои дети играют на газоне возле загородного дома, и ты получаешь известие, что из соседнего дома удрала ядовитая змея. И ты бродишь, бродишь, ищешь ее в густой траве, беспокоишься за детей; боишься бросить поиски, потому что она может твоих детей укусить, а ее укус смертелен. И вот ты ее находишь! Облегчение, радость. Теперь твои дети могут играть спокойно и ничего не бояться.

Я издалека смотрел на это самодовольное лицо в дорогих очках. Лицо врача, который презрел великую клятву, предал своих пациентов, убил моего ребенка и искалечил мою жену. Врач, который только мне одному принес столько зла, что хватило бы на несколько жизней. Я понял, что распаляюсь, что на мое возбужденное состояние начинают обращать внимание в троллейбусе.

Я взял себя в руки. Нечего тут говорить, обсуждать – все правильно, все закономерно. Я спокоен и решителен. Я шел за ней до самого ее дома. Дождался, когда она исчезнет в подъезде, а несколько секунд спустя вошел следом. Лифт двигался вверх, и я поспешил по лестнице, перешагивая через ступеньку. Остановился он на пятом этаже, когда я уже поднимался на четвертый. Это было как раз то, что нужно. Я уже был между четвертым и пятым этажом, когда захлопнулась дверь ее квартиры.

Я не строил расчетов и не консультировался с психологами. Это пришло мне в голову случайно. Просто я представил себе человека, который только вошел в свою квартиру, только начал разуваться, раздеваться… И тут звонок в дверь. И он машинально открывает.

И я позвонил…

Не думайте, что я получил удовольствие. Нет, это было даже в какой-то мере страшно. То, что я испытал, скорее было сродни удовлетворению. Удовлетворению, что я смог это сделать, что я способен бороться со злом. И удовлетворение, что гадина умирает. Да, да! Сначала чувство удовлетворения, что она умирает, а потом – что уже умерла. Я не винил себя, хотя мысли, что это садизм, у меня поначалу были. И еще я очень боялся получить удовольствие от самого процесса убийства.

Но мои страхи оказались напрасными. Она открыла дверь, увидела меня, и целая гамма эмоций отразилась на ее лице. Непонимание при виде незнакомого человека, узнавание во мне того самого мужа той самой женщины, ребенка которой ей якобы не удалось спасти. Потом сострадание во взгляде, искусственное сострадание. В этом я был убежден. Комедию опять начала разыгрывать!

Я шагнул в квартиру, не дожидаясь приглашения, а она машинально позволила мне это сделать. И я ее задушил. Просто схватил за горло и стиснул со всей силы. Я вложил в это действие всю свою ненависть, все свое горе, горе всех предыдущих ее пациентов и будущих. Тех, кому она теперь уже горя не принесет. И я смотрел ей все это время в глаза.

Зачем? Это было необходимо, чтобы… чтобы ощутить свою правоту. Я давил ее горло и смотрел, как выпучиваются глазаврача, как она раззявила рот, как ее толстые пальцы вцепились в мои руки. Умри, мразь! Сука, паскуда, гнида… Сколько вас еще на свете – тех, кто гадит вокруг себя, для кого мы все ничтожества, кого такие,как ты, презирают? Сколько вас еще таких, кто не считает меня, нас за людей, кто с легкостью принимает решение убить, отнять, лишить, искалечить? Ну, вот и получи свое…

И мне стало легче. Я вернулся домой и впервые за последние несколько дней – а может, и недель – посмотрел жене в глаза. Она лежала под пледом. Я присел рядом, положил ей руку на плечо. Она шевельнулась. Я наклонился, отогнул край пледа и посмотрел в ее лицо. Оля лежала, уставившись в стену перед собой. Лицо у нее было спокойным, даже слишком. Даже не лицо, а маска какая-то. И глаза, как две страшных черных дыры на лице.

Я взял ее лицо в ладони и повернул к себе. Теперь что-то изменилось во мне. Со времени выписки Оли из роддома я о ней почти не думал. И мы с ней, кажется, не разговаривали. А теперь во мне проснулась жалость. То, что я совершил, явилось чертой, после которой начинается новая жизнь. Я отсек прошлое.

– Оленька, – проговорил я чужим, незнакомым мне голосом, – я с тобой, родная.

И тут ее прорвало. Глаза вдруг стали большими-большими, прояснились. А потом так же быстро и неуловимо наполнились слезами. Никогда я не думал, что в человеке может быть столько слез. Они лились ручьями, потоками, целыми водопадами. По щекам, по подбородку выплескивались мне на рубашку. А я целовал это мокрое лицо, эти губы, которые шевелились и что-то говорили.

– Я думала, что ты меня возненавидел… родной мой, как я испугалась… мне так было плохо… я жить не хотела…

В эту ночь я впервые за очень многие месяцы уснул спокойно, тихо и почти счастливо. И мне ничего не снилось. И даже во сне я ощущал ее, теплую, мягкую, родную…

«Лом». Сознаюсь, что Достоевского не читал и фильмы по его книгам не смотрел. Но то, что в школе нам рассказывали, помню. Вот что значит брать сюжеты из жизни, вот что значит правда жизни. И это трагедия одного человека – а сколько таких, о которых мы не знаем?.. Страдающих, мучающихся, рвущихся на части.

«Kiss». И, между прочим, убивающих! Это меня всегда удивляло. Чего писать о ненормальных-то. Вон у меня мама любит смотреть программу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. А я не понимаю! Выберут каких-тоалкашей, бомжей, дегенератов, которые двух слов связать не могут. И вот теорию подводят, почему кто-то там ребенка бросил или по пьянке мужа пырнул ножом. Как будто в той среде это невероятное чудо какое-то! И, главное, депутаты, актеры там сидят. И все спорят, рассуждают о них, как о нормальных!

«Глафира». Как у нас многие любят сразу делить все на «нормальных» и «ненормальных». Где эти критерии, кто их придумал? Эти убийцы нормальные, уголовники? У него хоть благие намерения в голове были, а они-то вообще животными инстинктами живут. Я не осуждаю этого заключенного. Права такого за собой не признаю, чтобы судить его!

23 июня 2010 г.

16:58

Я благодарен всем, кто посещает страницы моего «Живого Журнала», благодарен всем, кто оставляет свои комментарии. И, поверьте мне, в своем повествовании я далек от того, чтобы проводить параллели с Достоевским. Не надо искать плагиат, родство в диагностике социальных проблем или исследовании человеческих душ. Я не зря назвал свой журнал «О чем не могу молчать». Судьба этого человека не оставила меня спокойным; мне захотелось рассказать об этом, вызвать вас на дискуссию, заставить размышлять. Почему-то у всех засело в голове именно из Достоевского: «тварь я дрожащая или право имею». Есть ведь и другие великие, кто задумывался о смысле жизни, о своей роли и своем месте. Вспомните хотя бы Экзюпери! «Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать». Я журналист и истово исповедую это. Я не уверен, что Георгий Павлов читал Экзюпери, я не спрашивал его об этом. Но важно другое, что эта философия всегда находит своих приверженцев, даже если они в уме и не сформулировали ее столь точно.

Даже то, что я излагаю от имени Павлова, с его слов, формулировать приходилось мне, учитывая его состояние. И хотя я воздерживаюсь от оценки его поступков, не случайно эту часть исповеди я назвал «Чужая боль». Итак, вот ее продолжение. Настоящей исповеди, потому что никто еще не знает о его причастности к первым трем убийствам, о которых шла речь вначале.

Жизнь – это такая странная штука, что порой не устаешь удивляться. Одному достаточно раз споткнуться, достаточно безответной любви, и он уже вены себе вскрывает, с крыши прыгает. А другого она бьет и бьет. Давно, кажется, уже по маковку в землю вбила, а он все поднимается и поднимается. И меня она вбила в землю, только я выбрался.

Выбрался, хожу между людей как инопланетянин. Они не видят за своими мелкими дневными заботами, мелкими человеческими радостями, сколько вокруг них зла, сколько мерзких, гнусных людей. И не увидят, пока не столкнутся нос к носу, пока на собственной шкуре не ощутят, что современная жизнь – это жизнь в джунглях. Они не нападают на тебя, даже внимания не обращают. Но это до поры до времени. Там – до поры, пока они не голодны, а здесь – до поры, пока ты не попался под ногами. И там и здесь результат один. И там и здесь это

смертельно опасно, потому что они беспощадны. Они безжалостны, потому что равнодушны к вам, потому что у них нет эмоций. Вы для них – временное неудобное препятствие.

С некоторых пор я стал пользоваться услугами наемного водителя с его собственной машиной. Это не так дорого, как официально приобретать служебную машину на организацию. И ехали мы тогда с водителем по Садовой улице. Сцена, которая так потрясла меня, произошла прямо перед нами.

Мы с водителем давно обратили внимание на эту девушку на старенькой «восьмерке». Она ехала перед нами уже на протяжении минут пяти, была очень старательной, предупредительной. Чувствовалось, что недавно получила права и что к дорожному движению относится серьезно и ответственно.

И тут случилось такое, что даже мой флегматичный водитель, и тот крякнул от возмущения. Со встречной полосы, отчаянно мигая фарами, перед «восьмеркой» вдруг полез серый «Форд». Приспичило ему повернуть налево в переулок. Места для маневра явно было маловато, и даже неопытная девушка за рулем «восьмерки» это поняла. Она даже попыталась включить заднюю скорость и сдать назад, чтобы пропустить наглый «Форд». Но сделать этого не успела. «Форд» полез перед ней, в прогал между «восьмеркой» и «Москвичом». И, естественно, не прошел по габаритам.

Я видел, как качнулась машина, как из кабины «Форда» вылезла широкая, мордатая и плечистая личность лет тридцати. Я видел, что девушка из «восьмерки» тоже стала выходить. Но при всей абсолютной ее невиновности в этой ситуации, я сразу понял, что она страшно перепугана. Опущенные плечи, втянутая в них голова, прижатые к груди руки, умоляющее лицо. Зато как мордатый вылезал! И все. Бешенство, предчувствие предстоящего беспредела захлестнуло меня. Мне до такой степени стало жалко эту девушку, что невозможно описать.

Я сказал водителю, чтобы он ехал в офис, а я сойду здесь. Якобы вспомнил о каких-то делах. Стоял в сторонке на обочине и видел то, что и ожидал в этой ситуации. Я не вмешивался, я выжидал. Надеялся, что в нужное время, когда приедет ГАИ, я выступлю как свидетель и помогу девушке. Но я сильно ошибся в оценке ситуации, потому что даже не представлял себе всей возможной мерзости, на которую способны люди.

Ситуация развивалась на моих глазах. Мордатый сразу заявил, что девушка виновата, что она поцарапала ему бампер. Кстати, бампер ее «восьмерки» в одном месте оторвался. Девушка мужественно попыталась дать отпор и сослаться, что именно мордатый полез в прогал между машинами, когда там, по сути,

было препятствие. Он фактически наехал на нее.

И случилось то, чего я и ожидал. Мордатый достал из кармана удостоверение и представился капитаном милиции из областного МРЭО ГАИ. Более того, он пообещал, что сейчас приедут его ребята и повезут девушку на экспертизу. И экспертиза покажет, что она в нетрезвом состоянии. Мол, он это ей гарантирует. И она в результате останется без прав. Девушка все еще пыталась оставаться мужественной, хотя я видел, что на глазах ее вот-вот появятся слезы.

Кончилось все так, как и заявлял мордатый. ГАИ приехала, сотрудники замерили, составили протокол, или что они там составляют. И по насмешливым разговорам я понял, что несчастная бесправная девушка окажется виноватой, что на нее навалят штраф. И как бы не пришлось ей выплачивать еще и что-то этому капитану…

Во всем этом было столько цинизма, столько пошлой безнаказанности и издевательства над человеком, который ничем не может тебе ответить и противостоять. Этот разгул самодовольства и садизма надо было видеть – как плечистый сытый детина глумится над девушкой, которая ему и до подбородка не достает. Это было настолько дико, страшно, что хотелось убить, потому что совершенно понятно, что ничем другим тут не поможешь. Эта мысль сначала пришла мне в голову отвлеченно. Но это было сначала.

Мне было до того жаль девушку, что я не удержался и подошел. Сказал, что краем уха слышал, как с ней обошлись. Она чуть не расплакалась, но каким-то чудом сдержалась. Ей предстояло сейчас ехать в отделение ГАИ, завершать все бумажные протокольные дела. Я подумал, что и хозяин «Форда» тоже обязан будет туда поехать. И я понял, что готов.

Нет, я не так прямо подумал, что вот возьму и убью этого мордатого. Нет. Все было постепенно. Сначала мне просто хотелось успокоить девушку, высказать свое сочувствие, свою солидарность, а потом появились все те мысли и ощущения, которые я помнил. Помнил, совершая праведные убийства Вареного и парня, стрелявшего в меня. И даже когда я душил ту врачиху. Это была какая-то легкость во всем теле, ясность мысли. Или даже не ясность, а сосредоточенность именно на происходящем, отсутствие других мыслей. А еще сознание, что я убиваю мерзкую гадину, от которой пострадало уже столько людей и еще больше пострадают.

Девушка назвалась Ириной. Я понимал, что незнакомого человека она в машину не пустит. Поэтому я немного приврал из благих намерений, что у меня есть кое-какие связи и я могу

попытаться ей помочь. Но в ГАИ ей ехать все равно нужно.

– Они заставляют меня подписывать документы, – обреченно напомнила Ира. – Фактически это мое согласие, признание, что виновата я, а не он.

Это я упустил. Говорить ей, чтобы не подписывала? Так она часть уже подписала. И чем я мог ей помочь? Если скажу, чтобы не подписывала, то только наврежу девчонке, у нее начнутся неприятности с этим мордатым капитаном. На самом-то деле я ей ничем помочь не мог. Знаете, наверное, тогда я решил, что могу помочь, но произошло это где-то глубоко во мне. И решил, как помогу.

– Подписывайте, конечно, – посоветовал я. – Это уже роли не играет. Если смогу помочь, то ваша подпись будет признана недействительной. Как бы под давлением, понимаете? Поехали в ГАИ; делайте все, что вам велят, а я пока подумаю, кому позвонить.

Возле отделения ГАИ я вышел из машины и начал думать. Мне было необходимо время, чтобы справиться с собой. Или, наоборот, настроиться. Не знаю. Поймите, поверьте, что в тот момент умом я еще не собирался убивать его! Меня просто переполняли негодование и обида. Дело было не в этой девочке, на которую этот сытый и мордатый капитан так нагло «наехал». Она была олицетворением все обиженных, втоптанных в грязь, обесчещенных, лишенных человеческого достоинства. И самое обидное было в том, что все это и многое подобное творится средь бела дня, среди массы народа, и никто этого не замечает, пока оно не коснется его самого.

Кто дал им такую власть, этим мерзавцам? Да никто! Такие всегда и при всех строях и формах государственного управления найдут лазейку, чтобы выбраться из грязи, высунуть оттуда свою гнусную подлую морду – а потом начнут гадить вокруг себя, кусать всех, кто рядом. Они незаметны, хитры, они ловко пользуются помощью таких же, как и они. Они скользки и омерзительны.

И я уже понял, что способ один. Только один – самый действенный, самый надежный. От омерзения и ненависти меня опять начало трясти. Как я их ненавидел – этих, которые присвоили себе право так обращаться с другими! Тогда я присвою себе право самому судить и наказывать их. Я же могу это сделать, я уже делал это! Значит, способен, значит, это моя миссия и моя кара.

Ира вышла понурая, уставшая и, наконец, дала волю чувствам. Она села в машину, положила руки на руль и разрыдалась. Я попытался искренне успокоить ее, но девушку

душили слезы и обида. Она чаще всего повторяла слово «почему». Ну почему так все в нашей стране, ну почему им все можно. Нет, девочка, мысленно говорил я Ирине, не все. Теперь не все.

В общем, капитан потребовал от Ирины приличную сумму на ремонт своего «Форда». Принести велел к нему домой через два дня. Я удивился такой его наглости, но потом понял, что мордатому бояться-то некого. И не в квартиру он Ирину приглашал, а назначил встречу вечером возле дома. И, самое главное, разговор этот между ними произошел наедине, а не в присутствии его коллег из этого отделения ГАИ.

Два дня справедливая судьба дала мне на подготовку. Я сказал Ирине, что все решил по своим каналам, что капитана приструнят и он к ней даже не сунется. Естественно, никаких денег никуда нести не нужно. Ира попыталась меня отблагодарить, она была счастлива, но дальнейшие отношения с ней были опасны. Я должен, как добрый джинн, исчезнуть из ее жизни навсегда. Я видел ее счастливые глаза и был счастлив сам. Это же очень приятно – приносить радость другим, делать совершенно незнакомых людей счастливыми. И это мой долг – долг человека, который вернулся из могилы.

Я как-то не особенно долго раздумывал о способе убийства. Точнее, совсем не раздумывал. Для меня все было само собой разумеющимся. Мразь надо давить, как таракана, как змею. Надо трахнуть его по здоровенной наглой башке. И чем-нибудь таким, от чего не будет много кровищи. Не ломом, не прутком стальным, от них все вокруг будет забрызгано. Тут нужно что-то тяжелое, большое, твердое, вроде бейсбольной биты.

Искать биту мне не хотелось. «Светиться» в магазине при ее покупке… Что, на ней свет клином сошелся? Думалось легко и весело. Я принял решение, зло будет наказано, точнее, уничтожено, и никому несчастий больше не принесет. И от этого на душе у меня было хорошо. Это не в обычном понимании приятные мысли, а чувство приятного злорадства, почти физиологического довольства.

Зачем мне что-то покупать, когда под ногами полным-полно подходящих предметов? Я взял обычный кирпич, завернул его в тряпку, которую нашел на помойке, перевязал бечевкой, чтобы тряпка не сползала. Вот и все орудие. Не желая пачкаться грязной тряпкой, я завернул свое орудие в полиэтиленовый пакет. Так оно и лежало у меня за пазухой, пока я двигался к предполагаемому месту встречи мордатого и Ирины.

Понимал ли я, что собираюсь снова совершить уголовное преступление? Скорее всего, это можно было считать пониманием того, что я беру на себя слишком много. Закон их наказать не

сможет, в том числе и этого мордатого капитана. Он просто не доберется до него. И все потому, что такие, как этот капитан, возятся в своей среде, как черви в гнойной ране. А эта среда недосягаема для закона. Он туда никогда не суется, люди там сами разбираются со своими проблемами.

Есть у тебя блат, влиятельные знакомые – значит, ты сверху. Нет – тогда сверху вот эти гнусные личности, которые творят с тобой все, что хотят и как хотят. А для этой среды все средства хороши. Принято тут разбираться самим – вот и разберемся. Я просто считал, что все должно быть соизмеримо. Мера зла, которую приносят другим эти гады, и мера зла противодействия. На мой взгляд, все с лихвой окупалось. А уж тем более если противодействием буду я – человек, который выбрался из могилы, который вернулся с того света. Ведь для чего-то я выжил? Или не так: я мертв, я пострадал от них, они меня убили. И это моя рука, которая протянулась за ними с того света. Так как же можно применять к моим действиям понятия человеческого общества, как меня вообще можно осуждать?

Он, естественно, сидел не на той лавочке, под ярким фонарем, освещавшим площадку перед подъездом. Он курил в темноте на детской площадке. Это было гнусно вдвойне. Во-первых, он, как гадюка, притаился в темноте. Почему? Бояться ему нечего, потому что никакого вымогательства ему не пришьешь, если и захочешь. Ирина ведь добровольно согласилась возместить ему ущерб, нанесенный его машине. И в материалах ГАИ фигурировала ее вина и ее согласие с нею. Значит, решил я, это просто у него натура такая подленькая, и она заставляет его сидеть, таиться в темноте. Да еще в таком месте, которое по определению не должно вызывать чувства опасности. Это же детская площадка, а сидит он на лавочке, где сидят мамашки, выгуливающие своих чад.

Ох, как я его ненавидел! Все, как кадры фильма, специально нарезанные по моему заказу, прошло перед глазами. Наглая попытка проскочить между машинами и никакой боязни последствий. Как он зацепил машину совершенно ничего не подозревавшей, ни в чем не повинной девушки. Как он цинично вел себя по отношению к ней. Офицер милиции, человек, который не только по долгу службы, но и, казалось бы, по убеждениям должен был бы защищать и стоять на страже. И ведь девушка же! Молоденькая, неопытная, перепуганная… А как он перед ней кобенился, как нагло кривилась ухмылка на его лице!.. Мразь паскудная. Он и в милицию пошел только для этого, чтобы отнимать деньги, унижать, вымогать, брать взятки, быть выше всех.

Я был очень решительно настроен и очень спокоен. Человек всегда спокоен, когда уверен в своей правоте. Ясно, что нас никто не видит, потому что с верхних этажей площадка прячется за кронами деревьев, а с улицы… что там увидишь с улицы? Какие-то фигуры, тени… И найдут его только дворники утром. Последняя мысль меня просто возбудила. «Найдут утром»! То есть все будет кончено, он больше никогда и никому не принесет горя, беды. Начиная с завтрашнего утра его просто не будет…

Мне оставалось только как-то приблизиться к нему, чтобы нанести неожиданный удар. Потом и эта проблема решилась. Капитан не сидел спокойно, он курил, все время ерзал ногами по опавшей листве, громко сплевывал сквозь зубы. Наверное, он упивался своей значимостью, любовался собой. Только чем там было любоваться, когда все замашки и манеры у него приблатненные, чуть ли не бандитские? И тут перед моими глазами встали лица тех, кто присутствовал там, в лесу, когда меня убивали. И я ударил.

Наверное, мордатый все же почувствовал, что к нему незаметно подошли со спины. Но он успел только чуть повернуть голову в мою сторону. Он мне даже помог, потому что удар пришелся в височную область. Из тех же самых детективов я знал, что кости черепа в этом месте тонкие и проломить их пара пустяков.

Как они хрустнули, я не услышал, а почувствовал. Наверное, я убил его сразу, с одного удара. Мне так подумалось, потому что мордатый мотнул от удара головой, некоторое время еще сохраняя вертикальное положение, а потом повалился боком на лавку. Дело было сделано… наверное. Я его убил, уничтожил! Бывают такие минуты у каждого человека, когда он не может членораздельно выразить свои мысли, потому что его захлестывают чувства. У меня было то же самое; только я не сказать – подумать ничего членораздельного не мог. Чувства восторга, удовлетворения, радости за девушку Ирину настолько разбушевались внутри, настолько тесно переплелись с чувством ненависти, что в голове не было ни единой мыслишки. И наверное, это состояние меня и подтолкнуло ко второму шагу.

Я не размышлял о том, что моя жертва могла быть еще живой. Даже и не думал об этом, тут было нечто другое, схожее с отношением к змеям, тараканам. Брезгливо-ненавистное. Мало просто убить, нужно растоптать. И я поднял свой кирпич двумя руками над головой и со всей силы грохнул им о голову мордатого. Как раз в то место, где у него виднелась кровь, – в область виска.

Я отшатнулся, потому что кирпич неестественно отскочил от

головы, как от резинового мяча. И сама голова неестественно подскочила во время удара на лавке. И стук был какой-то неправильный. Все было похоже на репетицию, на то, что я ударил кирпичом манекен, а потом в манекен же швырнул его во второй раз. Опять, наверное, секреты человеческой психики. Опять, наверное, мозг, чтобы защитить себя от помешательства, отстрашного стресса, заменил реальную картинку восприятием нереального…

Я даже не помню, как ушел оттуда. Вернулся домой и сразу лег спать. Но сон не шел. Было забытье, полудрема. Я лежал с закрытыми глазами, отвернувшись к стене. А перед глазами стояло тело и лавка. Но мне хотелось увидеть глаза Ирины, а я все никак не мог их поймать. Она все время отводила свой взгляд, все время крутила головой. А мне было очень нужно.

Проснулся я утром с ощущением, что не спал совсем. Не потому, что не выспался, что хотелось смертельно спать. Просто ощущение, что лег, полежал, а потом встал. И желание увидеть глаза Ирины не пропало, а стало более ярким, навязчивым. Жена, наверное, понимала, что со мной творится что-то не совсем обычное, и старалась не донимать расспросами. И я был ей очень благодарен за это.

Увидеть глаза той девушки, которую я избавил от мордатого капитана, мне хотелось все больше и больше. И в конце концов желание превратилось в навязчивую идею. Я метался по городу, часами простаивал в том месте, где произошла тогда авария, надеясь, что Ирина поедет снова тем путем. Я несколько дней подряд приезжал к дому убитого мною милиционера и ждал там часами, надеясь, что Ирина снова и снова будет приезжать и привозить деньги. Ведь она до сих пор не знает, что угроза миновала.

Что я хотел увидеть в ее глазах, не знаю. Не получалось у меня сформулировать эту мысль. Я знал, какие у меня теперь глаза. После того как миновала угроза со стороны Вареного. Но я прошел через могилу, и до сих пор меня прошибает пот, когда я вспоминаю, что тогда пережил. А она? Какие глаза будут у Ирины, когда она узнает, что этот наглый тип уже никогда в жизни не потревожит ее, не оскорбит, не унизит?..

Я напрасно столько дней потратил на поиски Ирины. Если бы знать, что судьба сама сведет нас… Точнее, приведет ее ко мне. И прямо в выставочный салон. Тогда только-только открылась выставка молодой местной художницы, был самый наплыв богемы. Я, как генеральный директор, крутился среди гостей, угощал шампанским. Думаю, что в предвкушении встречи с Ириной, которую надеялся найти в самое ближайшее время, я

ощущал некоторый подъем. Как-то неожиданно перестало давить на плечи и на спину все мое недавнее прошлое, куда-то в сторону ушли привычные переживания и терзания. Даже подчиненные с интересом посматривали на меня. Они ведь давно уже стали привыкать, что их шеф стал угрюмым, неразговорчивым, неприветливым, раздражительным.

Ирина залетела в светлой вельветовой юбочке с двумя подругами, с цветами. Она не видела меня, потому что все ее внимание было обращено на виновницу торжества. Это было чудо, послание небес! Я искал, мучился, терзался, а она вот так взяла и просто пришла в мой выставочный салон. Значит, эта Ирина тоже из среды художников, понял я; значит, она все время была где-то рядом.

Я смотрел на Ирину – и видел ее уже другой. И это было очень приятно. Приятно видеть, что в ее глазах нет тревоги, страха, что они весело блестят. Приятно даже самому смотреть на нее другими глазами. Какая она стройненькая! Тогда, в машине, я видел только ее большие, наполненные слезами глаза, видел отчаяние, а саму девушку так и не разглядел. А она вот какая! Немного, правда, полноватые ножки, обаятельные круглые коленочки и… как приятно обтягивает юбка эти бедра. Грудь не очень большая, а шея… какой изгиб, какие завиточки волос… Мне захотелось прикоснуться к этим завиткам пальцами, провести рукой по коже шеи.

Это было не то, что вы думаете. Я не хотел заводить с ней интимных отношений, изменять жене. Поймите меня правильно, я просто чувствовал с этой Ириной свою эмоциональную близость, какое-то духовное родство. Так бывает у абсолютно чужих, незнакомых людей, которые что-то пережили вместе. И мы с Ириной пережили. Точнее, она думает, что пережила-то она одна, а вот я…

Как блестят ее глаза! Я тихо подошел сзади и, прежде чем остальные девушки вопросительно уставились на меня, взял Ирину за локоток. От неожиданности она чуть не расплескала шампанское, а потом, когда увидела, что это я, то с ней произошла удивительная метаморфоза. Сначала удивление, потом радость, потом немой вопрос и тень недавних переживаний. И тут же опять надежда на меня, на то, что теперь все уже окончательно позади. И все это вызвано мной, моим поступком. Было очень здорово видеть результаты своих дел. Гадина мертва, а другой человек счастлив. Живет теперь полной жизнью, творит, наверное, на своих холстах, и ничто ей не мешает…

– Здравствуйте, Ирина, – улыбнулся я, очарованный

всплеском ее эмоций. – Так вот вы, оказывается, в каких кругах вращаетесь? Вы позволите, девушки, украсть на некоторое время вашу подругу?

Девушки не возражали, а только переглянулись с завистью, что у Ирины такие знакомые.

Я увел ее к себе в кабинет. Мы пили кофе и болтали. Сначала Ирина была напряжена; чувствовалось, что ей страшновато, что ей неудобно задавать этот вопрос. Я это понял и поспешил ее успокоить. Все улажено, больше ее никто никакими претензиями не потревожит, она может забыть о происшествии как о страшном сне. Это очень приятно видеть, как встревоженная девушка с облегчением вздыхает, как тревога пропадает с ее лица, как на смену ей приходит безграничная благодарность. Я был счастлив.

Потом разговор перекинулся на мою гостью. Она действительно оказалась художником. Работала в одном рекламном агентстве художником-дизайнером и все свободное время посвящала живописи. Они с подругами вместе снимали помещение, где и оборудовали себе студию. Родители? Они далеко, в деревне. Она девочкой поступила после школы сюда в художественное училище, окончила… Так и осталась здесь. Снимает с подругами квартиру, работает. Машина? Нет, не заработала, конечно! Родители настояли. Там, в деревне, бабушка умерла. Жила она в отдельном доме. Чего же с ним делать? Вот и продали. А по осени кое-какую живность забили. Вот отец у знакомого старенькую «восьмерку» и сторговал. Из хороших рук машина, и в деревню теперь можно ездить к родителям самостоятельно, не зависеть от автобусов. Жалко… теперь вот чинить надо. Бампер гремит, на соплях держится.

– Мне очень хочется посмотреть ваши работы, – сменил я тему с тягостной на более приятную. – Мне кажется, что вы любите рисовать природу, солнечные пейзажи.

– Люблю, – с загоревшимися глазами проговорила Ирина. – Только все по настроению. Ведь истинное очарование бывает не только в солнце, но и в дожде. Это надо увидеть, почувствовать и передать настроение красками. А еще я очень люблю рисовать старый город, его историческую часть. Смотришь иногда, а рука сама стремится внести что-нибудь из тех времен. Дам в пышных платьях с зонтиками, пролетки с откинутым верхом…

Как-то неожиданно получилось, что Ирина сама изъявила желание показать мне свои картины и мастерскую. У меня и в мыслях не было, что ей импонировало внимание человека, который распоряжался выставочным салоном. Я искренне полагал, что приятен ей как духовно близкий человек.

Мы приехали к старому двухэтажному деревянному дому с

каменным фасадом. Ира открыла кодовый замок и повела меня по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж. Я ожидал увидеть ободранные двери со следами клеенки, утеплителя, помойные ведра и что-то в этом роде. Не знаю, откуда взялись такие ассоциации. Наверное, виною мой природный пессимизм, опасение во всем видеть и предполагать худшее.

Однако и лестница, и площадки перед квартирами оказались чистенькими, никакого запаха кошек и мышей. И дверь, к которой подошла Ира, оказалась приличной, вполне современной железной. А за ней квартирка, состоящая из трех комнаток и кухоньки. Наверное, в каждой и была отдельная студия, оборудованная и обставленная так, как хотелось мастеру.

Первая же комната оказалась владением Ирины. Абсолютно пустая, если не считать застеленного пледом старинного дивана с высокой спинкой и полкой на ней. В центре – станок, небольшой стеллаж у окна с красками, кистями, ветошью, еще с чем-то. А вдоль стен – рамы, заготовки, эскизы.

И Ирина принялась возбужденно демонстрировать мне свои творения. Это не интересно, это не получилось, это не закончено, а вот это… Вот! Смотрите! И я смотрел. Нельзя сказать, что я был чем-то поражен или восхищен. Ничего меня особенно не потрясло. Или я уже не тот, что был раньше, зачерствел… Или я в самом деле ничего в живописи не понимал… Но больше всего мне нравилось смотреть на Ирину, как блестят ее глаза, с каким жаром она рассказывает, демонстрирует, как она смотрит на собственные картины, особенно на те, которые, по ее мнению, особенно удались.

– А это? – в который уже раз пытался я посмотреть работу, которую Ирина игнорировала.

– Не стоит, – морщилась Ирина, – позже. Сейчас у меня слишком хорошее настроение, чтобы смотреть те. Это… это написано, когда я была в переживаниях после аварии, когда мне было плохо, когда испытывала отчаяние.

И опять ее глаза готовы были налиться слезами. Она опять так стиснула руки перед собой, что мне захотелось пожалеть девушку. Ведь я ей уже помог, значит, могу утешить, помочь. И я, приговаривая успокаивающие слова, приобнял ее за плечи, взял за руку. Она благодарно посмотрела на меня. И получилось так, что ее глаза оказались близко-близко перед моим лицом. Я смог, наконец, пристально их разглядеть. Каждую жилку, каждую складочку века, каждую волосинку бровей. У нее была очень нежная гладкая кожа и красиво очерченные губы. И казались они такими мягкими, теплыми.

Не знаю, что на меня нашло. Я никогда не был бабником, а

тут… Я вдруг провел пальцем по ее щеке, потом еще и еще раз. По щеке, к височку, где закручивался завиток волос. Потом очень нежно ладонью.

– Как здорово, – прошептала Ирина. – Так приятно.

И я потерял голову. Мои пальцы смело коснулись ее губ, провели вокруг, ощутили их мягкость, нежность, теплоту. И они чуть приоткрылись, показалась белоснежная эмаль зубов. Я приблизил свое лицо и коснулся ее губ своими губами. Они несмело шевельнулись мне в ответ. А я стал жадно и пылко целовать ее, зарываясь своим ртом в ее рот, покрывал поцелуями ее лицо, шею и снова возвращался к губам.

– Я вам так благодарна за помощь, – шептала Ирина, не сопротивляясь, а только придерживая меня руками за локти. – Я была в таком отчаянии, мне было трудно работать.

– Да ерунда все это! – судорожно выдохнул я ей в лицо, потому что мне не хватало дыхания. – Я мог помочь, а значит, должен был. Ты такая… такая…

– А тут такая встреча, – шептала Ирина куда-то мне в затылок, потому что мое лицо зарывалось в ее шею, губы мои уже шарили между верхними расстегнутыми пуговичками ее блузки, а руки, до этого страстно и нежно тискавшие спину девушки, уже были в опасной близости от ее груди.

– Я так рад, что это произошло, – шептал я, уже ничего не соображая, – я так ждал этого…

И все! Больше я себя уже не контролировал. Левая рука под поясницей Ирины напряглась и прижала ее тело ко мне со всей страстью, на которую я был способен. Правая рука решилась и жадно обхватила одну ее грудь. Та была удивительно мягкая и упругая одновременно, я так отчетливо ощущал ее набухший сосок. Путаясь лицом в отворотах блузки, я хватал ее грудь губами прямо через тонкую ткань. Я так прижимался к ней телом, я так втискивал ее в себя… Она не могла не чувствовать, как я возбужден, как…

Дрожащими руками я все же расстегнул блузку и обезумел от вида кружевного белого лифчика и кожи грудей, которая виднелась там. Схватив ладонями ее тело, я мял его, дурея от желания. Лифчик каким-то образом оказался под ее подбородком, а я уже рылся лицом в ее грудях, целовал их, ласкал губами соски, тискал руками и стонал. Безумие… безумие! Рукам было уже мало того, чем они обладали; они потянулись ниже, туда, где находилось то, что я помнил, – плотные пухлые ноги, круглые колени, бедра, так аппетитно обтянутые юбкой…

…А потом мы лежали молча и смотрели в потолок. Я делал вид, что обнимаю Ирину, а она стыдливо прикрывала свое

обнаженное тело краем пледа. Я не понимал, почему так произошло. Ирина не сопротивлялась, но и не горела желанием. Она только на первых порах в ответ на мои безумные поцелуи чуть шевельнула своими губами – и все. Но почему? Она что, просто уступила моим притязаниям? Почему не оттолкнула, почему не сказала, что не хочет этого? Не хотела, но отдалась? Но ведь я ей так помог, я ради нее совершил такое, что… Как же так можно ко мне относиться? Я понимаю, что она не знала, как я ее обезопасил, как я ей помог, но ведь что помог – понимала…

А потом мне стало так обидно и противно!.. Я понял, что вся симпатия Ирины ко мне, вся ее уступчивость через силу имеет вполне тривиальное объяснение. Ей нужны отношения со мной, ей нужно выставляться в моем салоне на льготных условиях! Вот из-за чего я здесь, вот из-за чего мы сейчас лежим на этом диване. Как это низко с ее стороны…

Я резко поднялся и стал натягивать брюки. Ирина медленно села, поправила плед и стала молча смотреть на меня. Я это чувствовал. И вдруг я услышал ее голос.

– У тебя странные глаза. Я это заметила еще тогда, когда ты подошел ко мне на месте аварии.

Я замер, не успев застегнуть ширинку.

– Мне жалко тебя, – продолжала Ирина. – Мне кажется, что у тебя случилась очень большая беда в прошлом. Или сейчас?

Обида постепенно ушла. Я вздохнул и продолжил одеваться. Не оборачиваясь, поднялся, поднял с пола галстук, стянул со стула пиджак.

– Ты приходи, – не столько разрешила, сколько попросила Ира. – Будет плохо, приходи. Когда хочешь. Ты же женат, да?

Зря она про жену напомнила. Я совсем было уже собрался обернуться и поцеловать девушку. Но тут на меня снова накатило чувство неприязни, чувство вины и обиды. Как она меня подловила в свои сети, как воспользовалась моим состоянием…

Оля, Оля, Оля! Как сильно все изменилось в нашем доме за эти месяцы. После потери ребенка и известии о бесплодии между нами наметилась трещина отчуждения. Но я вовремя спохватился. Я же мужчина, я должен быть снисходительным, мужественным, сильным. И я сделал первый шаг – стал создавать атмосферу любви и взаимопонимания, восстанавливать то, что казалось мне самому безнадежно утраченным и давно похороненным. Но я же первый и почувствовал, что вся атмосфера, которая моими стараниями создана в семье, напрочь пропитана неискренностью, фальшью. Я видел по глазам жены, что ее улыбки невеселы, что бодрое настроение – только надетый костюм клоуна. Даже минуты близости, которые, кстати, стали

очень редкими, – даже они не приносили радости. Я прекрасно чувствовал снисходительную уступчивость со стороны Ольги, потворство моей похоти.

И теперь, после месяцев каких-то казенных обязательных отношений в семье – иным словом я не могу этого описать, – я испытал такой взрыв страсти, такой восторг от обладания женщиной… И такое предательство с ее стороны.

Я ушел из мастерской молча, не обернувшись. Я знал, что Ирина так ничего и не поняла, но мне было все равно. Многое в этой жизни мне уже было все равно. Даже отношение мамы. Как она беспокоилась обо мне после моего выхода из больницы, как она названивала, сколько советов давала, каких только отваров не готовила… Но я и к этому относился равнодушно. Меня такое внимание больше раздражало, хотя я и старался этого не показывать. Я вообще стал меньше бывать дома, ссылаясь на занятость на работе. А на работе стал появляться реже, ссылаясь на плохое самочувствие.

И вот в таком состоянии я и бродил по городу. Особенно старался делать это по вечерам, когда никто не видит моего лица…

«Леха». Боря, ты, конечно, молодец! Вы все, журналюги, молодцы! Вам очень легко рассуждать, или у вас есть просто такое нездоровое желание рассуждать на эти темы. Я не об этом убийце, которого вы тут расписываете соплями и слюнями. Я тот самый капитан милиции из ГИБДД. Не совсем тот, о ком вы пишете, а нынешний, сегодняшний. Только за эти пятнадцать лет ничего не изменилось. На работе три шкуры снимают, платят копейки! А жрать что? Чем семью кормить? Я знаю, что вы сейчас скажете: что, мол, вали из милиции и иди в бизнес. А это каждому дано – бизнес этот ваш? Да ни хрена! И не в бизнесе дело. В смысле, не в оформлении учредительных документов. Каждый в нашей стране испокон веков делает свой бизнес, качает свои денежки оттуда, где сидит. В том смысле – что охраняю, то и имею. Нас же давно еще коммунисты поставили в такое положение, всю страну. Каждый гребет на своем рабочем месте, так чем вам капитан милиции не угодил? Вам легче станет, если он один будет честным среди страны воров?

«Вера Васильевна». Спасибо вам, Борис Михайлович, за интересную тему. Спасибо за то, что помогли задуматься о себе, о жизни. И особенное спасибо за то, что вы затронули, расшевелили этих «капитанов». Вон он как взвился, как заело его! Чувствует свою неправоту, только признаваться самому себе стыдно. Унизительно!

26 июня 2010 г.

08:31

Вот в таком состоянии я и бродил по городу. Особенно старался делать это по вечерам, когда никто не видит моего лица, моих глаз. Мне хотелось выть от тоски, я не понимал, почему вокруг меня образовался такой вакуум. Как будто я инородное тело, как будто живой организм человеческого общества меня отторгает. А ведь я столько для людей сделал – ведь не зря же вернулся с того света. Ведь я все это чувствую острее, переживаю больнее, вижу ярче.

Я брел по бульвару Роз, на котором они давно уже не росли, потому что у администрации района не было средств на уход за ними. На нем не горели фонари, потому что их давно разбили дебильные подростки, у которых половое созревание почему-то связано со вспышками вандализма. Это раньше в таком возрасте стихи писали украдкой, замечая, что девочки отличаются от мальчиков. А сейчас – камень в руку, и кто дальше. Или метче!

Наверное, это было предчувствие. Не зря я тогда думал именно об этом, это я хорошо помню. Я вообще каждый день своей жизни после смерти хорошо помню. И тот поздний вечер – тоже. Помню, что шел и чуть ли не скулил. Внутри все сворачивалось и снова разворачивалось, как ломка какая-то. Ни говорить ни с кем не хотелось, ни встречаться. А потом я услышал звуки.

Любой человек на моем месте услышал бы прежде всего звуки драки. Любой, но не я. Я услышал внутренним своим чувством боль, обиду, унижение. Это не драка, это избиение! Тупое, животное, жестокое, ради удовольствия. Ох, как мне захотелось вмешаться, вы представить себе не можете! Я встрепенулся, как гончая, только что нос по ветру не поставил.

Все происходило около разбитого, разрушенного и заброшенного фонтана. Их было трое. И они развлекались неторопливо, со смаком. Поднимали человека, ставили прямо и по очереди наносили ему удары. Кто ногой в живот, кто пытаясь, как в боевике, попасть в голову, кто кулаком, демонстрируя способы удара снизу, сбоку, прямо. Он уже не стоял на ногах, его уже приходилось держать, а они гоготали и снова пытались поставить его на ноги.

Откуда взялся этот паренек, я не знаю, не успел заметить. Это потом я узнал, что в избиваемом человеке он узнал соседа по подъезду, безработного пьянчужку. И ведь вмешался! Что-то было в нем родственное мне, такое, что заставило… Одним словом, он

вступился за мужика, завязалась драка, исход которой был очевиден и не в пользу одинокого героя. И я заорал, стараясь, чтобы мой голос прозвучал громко, страшно, гневно. И эта троица струсила.

Когда я подбежал, парень сидел на асфальте с разбитым лицом и держался руками за живот. Досталось ему прилично, но, как мне показалось, ничего страшного, кроме разбитой губы, брови и синяков на туловище, у него нет. А вот избитый мужик лежал в неестественной позе. Мы попытались расшевелить его, перевернуть.

– Он же мертвый, – испуганным голосом, хлюпая разбитым носом, проговорил паренек.

Я приложил пальцы сначала к запястью человека, потом к сонной артерии. Пульса не было. И я бросился искать телефон. К моему счастью, поблизости я увидел светящуюся вывеску «Опорный пункт милиции». Конечно, приехала «Скорая помощь», приехали из райотдела милиции. И меня допросили, и паренька. Я слышал, как по рации в машине передавали в эфир приметы хулиганов. «Разберутся, – грустно подумал я. – И с пареньком все вроде обошлось. А мужику не повезло. Жил, никому не мешал, разве только жене досаждал… И такая страшная смерть: быть забитым насмерть». Я долго не мог потом отвязаться от представлений, как это, наверное, чувствуется. Как тебя бьют и бьют, и конца этому нет. И спасения от этого нет. И хоть трезвый ты, хоть пьяный, а обреченность все равно почувствуешь.

И как я через несколько дней только напал на эту газетенку… Никогда не любил откровенной «желтой» прессы, да и другой давно уже не читал. А тут подвернулась газета – и прямо разворотом с заголовком, который сразу бросился в глаза. Кажется, статья называлась «Распоясавшийся хлюпик, или Неприкасаемые дети». Как-то так. И там было написано, что трое детишек высокопоставленных родителей безобидно резвились в скверике поздним вечерком. И тут они увидели, что студент в очках зверски избивает пьяного мужчину. Они попытались заступиться за гражданина, но озверевший студент-первокурсник набросился на них, жестоко избил и обратил в бегство. И только своевременное заявление пострадавших в милицию позволило задержать убийцу. К сожалению, человек, которого он избивал, скончался от побоев на месте происшествия.

Я опешил. Речь могла идти только о том событии, свидетелем которого я стал. Кстати, больше меня в милицию на допросы никто не вызывал. Или в прокуратуру, кто там у них убийствами занимается. Первым порывом было броситься в райотдел внутренних дел и начать доказывать, что все было не так. Но

заголовок статьи вовремя меня остановил. «Неприкасаемые дети!» Вот в чем тут дело. Значит, кто-то все это дело перевернул, чтобы детишки из убийц превратились в свидетелей и пострадавших. А паренек, который не смог пройти мимо, когда творился беспредел, оказался кровожадным убийцей, маньяком!

Это же… это же… Опять на моих глазах до людей дотянулась мразь, гнусность, подлость. И ведь ничего же и никого не боятся, потому так нагло себя и ведут. Ведь наглость же несусветная, ложь беспардонная, а никто ничего не докажет! Даже журналисты. А ведь есть еще я, настоящий свидетель того, что там произошло на самом деле. Я же должен бежать и доказывать… Стоп!

Я горько усмехнулся и посмотрел на себя как бы со стороны. Снисходительно посмотрел и с жалостью. Что я докажу? Там папаши с такими деньгами, что… Меня запросто признают ненормальным, чтобы только рот заткнуть. Если только не что-нибудь похуже… Один раз мне уже рот заткнули. Сырой землей!

Нет, не в прокуратуру надо идти, не в глаза их бессовестные смотреть. Надо… надо наказывать так, чтобы… чтобы этому студенту не обидно было, чтобы… И опять, прежде чем я осознал умом, прежде чем у меня начал складываться какой-то план действия в голове, я уже шел по улице, вглядываясь в мелкий шрифт в конце газеты в поисках адреса редакции. Мое подсознание все решило.

Разумеется, я не стал говорить там, кто я и что, какое к тому происшествию имею отношение. Я представился лидером общественного движения, которое ратует за достойное воспитание молодежи. Предложил включиться в эту борьбу за истину, и мне раскрыли кое-какие факты. Оказывается, дело сляпали на основании того, что погибший жил в одном подъезде со студентом-обвиняемым. И нашлись свидетели того, что погибший был дебоширом, пьяницей и задирой. Якобы он постоянно и всюду нарушал общественный порядок, а с семьей подозреваемого его вообще связывает определенный скандал. Якобы этот пьяница посягал на честь матери паренька. И естественно, у него нашелся мотив убийства, да еще поздним вечером в уединенном месте. А у троих свидетелей, которые мирно прогуливались неподалеку, оказались отличнейшие характеристики с мест учебы с печатями и подписями первых лиц учебных заведений. А к подозреваемому, как выяснилось, была масса претензий у педагогического состава и деканата. Его, оказывается, уже наметили к отчислению, несмотря на хорошую успеваемость.

Весь этот ворох нелепицы на меня вывалили вместе с

фамилиями родителей трех «свидетелей». Один оказался владельцем, как это теперь модно называть, известного в городе холдинга. Второй папаша слыл лидером в продаже автомашин, а третий – известным местным демократом, который в дни путча шумел больше всех и призывал к неповиновению. Его-то сынок, как это ни странно, и оказался заводилой в этой троице.

– Да-да, – убеждал меня журналист – автор статьи. – Такая вот извращенная фантазия, и такое же мировоззрение у парня. Не богатенькие оказались в этой ситуации и в этой компании лидерами, а именно Павлик Баранов. Особых богатств в семье нет, в политику папа еще не пробился, поэтому все блага жизни в далекой перспективе. Вот он и самовыражается, пытается доказать право на свое место под солнцем. Этим двум доказывать ничего не надо – у них и так есть деньги, обеспеченное будущее; и они могут позволить себе роскошь разрешить их развлекать, придумывать им занятия повеселее. Вот он и развлекал их. Вы не представляете, сколько за ними делишек, только никто доказывать не будет. И изнасилование двух несовершеннолетних девчонок, и угон с целью покататься автомашины, которую они разбили вдребезги.

Все было интересно, но бесцельно. Приговор мной уже вынесен, и меня в редакции интересовали только два вопроса: как мне найти Пашу Баранова и как его узнать. Естественно, задать эти вопросы вслух я не мог, но информацию все равно получил. Косвенную. И фотографию из материалов статьи, которая готовилась два месяца назад, но так и не пошла, мельком увидел.

С фотографии на меня смотрело широкое и румяное лицо. Короткие прямые волосы чуть топорщились на лбу. Наверное, вторая макушка. Паша на фотографии довольно улыбался, сидя боком в черной иномарке на водительском сиденье. Наверное, машина отца одного из дружков. На заднем плане веселье – дымит большой мангал, стол, покрытый модной в этом году одноразовой синтетической скатертью. Около стола (без стульев, по-шведски) компания в самых разных позах. В основном взрослые – компаньоны, коллеги, друзья. Стол ломится, особенно много пива.

С задним планом понятно, и я не стал терять времени. Меня интересовал только Паша. Фотография лежала возле меня всего секунд тридцать, но лицо снятого на ней парня впечаталось в мою память навсегда. Лицо широкое, глазки маленькие и смотрят, как колют. Такой, знаете, внешне приветливый, веселый, доброжелательный, а глазки колючие. Понятно сразу, что человек себе на уме, что во всем и всегда ищет выгоду. Что без выгоды для себя он пальцем не пошевелит. И понятно, что завистлив

страшно. Прямо чувствуется, как ему хочется сидеть вот так же, но в своей дорогой иномарке.

Что? Откуда у меня такой талант физиономиста? Не знаю… но я понимаю, что вас интересует. Вы полагаете, что у меня просто предвзятое отношение к человеку, что я все эти качества дорисовываю у себя в голове. Вряд ли. Все-таки я педагог, несколько лет преподавал… А этот процесс, он, знаете ли, быстро учит разбираться в людях по лицу, глазам, манере говорить.

Вышел я из редакции и чувствую, что ненавижу этого Пашу Баранова еще больше. Именно после того, как на фото его посмотрел. А еще радостно мне было, что длительных поисков не будет. Вся эта «гоп-компания» живет в одном доме. Есть у нас в Городском парке такой элитный домик улучшенной планировки. С видом на пруды, где живут черные лебеди. Дом я этот знал, и мне было известно, что на территорию ни въехать, ни войти без разрешения нельзя. Огорожена она сетчатым забором, ворота для машин и калитка для жильцов открываются пультом, который есть у каждого жильца. А еще там имеется охранник и видеонаблюдение. Даже в подземном гараже.

Сколько я там времени провел! Мне не везло, никак я не мог застать этого Пашку одного. Понятно, что днем я его убить не могу: слишком много свидетелей, слишком мало уединенных мест. Да и рисоваться рядом со своей жертвой я на людях не хотел. Нужен был вечер, поздний вечер, ночь. И чтобы он был один. Он главный, и за все должен ответить.

Эта мысль была для меня как ограничитель, потому что периодически мне хотелось убить всех троих. Особенно когда я вспоминал тот вечер, как они поднимали, ставили пьяного мужика на ноги и снова били, куражась, рисуясь друг перед другом. Но убить всех троих… Что-то внутри меня подсказывало, что это уж слишком. Или…

Вот именно тогда, когда охотился за Барановым, я понял, что внутри у меня появилось какое-то раздвоение личности, которое я не чувствовал раньше. Я рассчитывал, планировал убийство и важную роль в этих планах отводил сокрытию преступления. Значит, я боялся наказания, боялся быть пойманным? Помню, что эта мысль меня буквально ошарашила. Сразу в голове все стало на свои места. Я не хочу, чтобы меня арестовали за убийства, я боюсь пытаться убить всю троицу преступников, потому что боюсь не справиться с ними троими. Я боюсь! А где же правота моего возмездия, где мои убеждения, а где… Я разве совершаю что-то предосудительное? Чего я боюсь? Я же очищаю землю от зла, свой город, людей, которые в нем живут и страдают от этой мрази. Если я буду бояться, то кто тогда поможет людям? Следователь,

который сделал убийц героями и свидетелями, а истинного героя сделал убийцей? Барановы эти?

Это была ночь сомнений и борьбы с собой. Это была ночь страшных воспоминаний. А утром я уже жалел, что выбросил тот наган, который сослужил мне хорошую службу. Два дня мне понадобилось на то, чтобы найти того, кто продаст мне пистолет. На это ушла вся моя месячная зарплата, но о том, что я скажу дома Ольге, я просто не думал. Потом решу!

Это был старенький, видавший виды пистолет Макарова. Местами виднелись даже следы ржавчины, но стрелял он исправно. И еще на нем был спилен заводской номер. Я догадывался, откуда он взялся, почему обошелся мне не так дорого, как я предполагал. События в Чечне дали толчок торговле оружием в таких масштабах, что вот эти «пукалки» и патроны подешевели сразу и в разы. Гадко, мерзко, но пусть и это преступление послужит целям возмездия, целям ликвидации преступности.

В тот вечер, который плавно перешел в ночь, вся троица во главе с Барановым недолго шлялась по улицам. Около двенадцати ночи парни потянулись на Промышленный проспект. Что там происходило почти каждую ночь, я уже знал. И знал прежде всего от автолюбителей, которые предупреждали друг друга, чтобы не совались ночью на эту улицу. Там устраивались бесшабашные и дикие гонки на машинах. И просто гонки, и соревнования на скорость трогания с места, и на набор скорости, и на развороты на большой скорости. И ясно было, кто там развлекался. Те, кому не жалко машин, те, кому папа купит другую взамен этой, изуродованной. И понятно, почему милиция не вмешается и не разгонит этих ночных гонщиков.

Я аккуратно и незаметно втерся в толпу зрителей, в основном молодняка с пивом в руках и завистливыми глазами. Смотрел, слушал, стискивая в кармане рукоятку пистолета, и думал только о том, чтобы не упустить случай, если он мне представится. И он представился.

На моих глазах затеялся какой-то спор, сути которого я не понял, но Паша Баранов убедил одного парня, что способен на его машине что-то доказать. И они договорились, что после третьего заезда Баранов это сделает.

Я понял, что мне нужно сделать. Баранов в машине будет один, он пролетит два квартала и потом развернется, чтобы ехать назад. Машина приметная – черная «девятка» с четырьмя дополнительными фарами на кронштейне, укрепленном на крыше. И сам Баранов приметен: на нем безрукавка ярко-красного цвета – судя по всему, от импортного горнолыжного костюма.

Времени у меня было всего минут десять. Я постарался незаметно отделиться от толпы зрителей и отойти за деревья тротуара, что пролегал между проезжей частью и забором машиностроительного завода. Прибавив шаг, я почти бегом преодолел это расстояние в два квартала под рев то и дело проносившихся туда и обратно машин ночных гонщиков. А затем, за закрытыми на ночь киосками, проделал ряд упражнений на восстановление дыхания.

Посторонних машин на этой улице не было. Практически все знали, что здесь творится по ночам. В квартале справа от меня медленно проехала милицейская желто-синяя машина. Это опять вызвало в душе целую бурю возмущения и ненависти. Это ведь в самом деле как раковая опухоль, метастазы которой проникли во все органы и уголки организма. Все знают, все друг друга покрывают, все между собой связаны. А что остается нам, мне?

Я стиснул зубы, нащупал в кармане рукоятку пистолета и плотно обхватил ее ладонью. Палец аккуратно лег поверх спусковой скобы. Я был готов. Рывок, и оружие окажется на свободе. Патрон давно загнан в патронник, мне останется только сдвинуть флажок предохранителя и отвести назад курок. До щелчка. Когда я тренировался, мне этот звук нравился – он был каким-то значительным, весомым. Как приговор, как последний забитый гвоздь. К примеру, в гроб.

Я стоял, прислонившись плечом к металлической стенке киоска, и ждал. Я сам был как этот щелчок взводимого курка, сам себе казался значимым. Я сознательно встал на эту борьбу, потому что был избран самой природой, самим мирозданием. Мне было дано вернуться с того света, выбраться из могилы, и теперь у меня есть право карать тех, кто нас в эту могилу толкает. Сначала те, кто толкнул лично меня; теперь пришла очередь тех, кто толкает других, в прямом или переносном смысле слова.

Я гуманен, я не стану убивать всех троих парней. Убью главаря, организатора, вдохновителя. Они поймут и ужаснутся! Им этого урока хватит на всю жизнь. А его отец, этот депутат, пусть вспомнит и осознает, что он такое вырастил, воспитал и есть ли у него моральное право быть депутатом.И отцы дружков Баранова после этого пусть схватятся в ужасе за головы, пусть поймут, насколько их дети были близки от смерти, от наказания. И вот оно! Решение и выход!

Я вдруг понял, зачем сейчас сделаю это. Не только для кары, не для возмездия. Богатенькие папаши поймут смысл этого убийства. Они обязательно испугаются, а когда поймут, что главный виновник мертв, тогда и заставят со страху своих сыновей признаться и подписаться. Вот тогда невиновный и

окажется оправданным, он окажется на свободе.

От восторга, который вызвала эта догадка, я готов был заорать на всю улицу, захохотать в полный голос. Вот он смысл, высший смысл! Я слишком погряз в собственных проблемах, в унынии, в одиночестве, которое окутало меня, как утренний туман реку. Но есть в одиночестве и свое рациональное зерно. Ты размышляешь, ты страдаешь, мучаешься и прозреваешь…

Красная приметная куртка исчезла в кабине черной машины. Очень хорошо, что он надел ее сегодня, издалека видно. Я изготовился и в последний раз осмотрелся по сторонам. Прохожих не видно, машин нет, киоски и торговые палатки закрыты. Надо было бы посмотреть еще и соседнюю многоэтажку. Может, кто на балконе курит? Или у нее балконы выходят на другую сторону? Плевать, потому что машина приближается на бешеной скорости, ревет пробитый глушитель (или специально так сделанный); где-то тут Баранов затормозит и развернется. Не знаю, где и в какой момент, но планы я ему спутаю. Он еще не понимает, что живет последние секунды своей жизни…

Машина несется со скоростью явно больше ста километров в час. И не собирается тормозить. Вот уже скоро она поравняется со мной! Сначала я думал остановить Баранова, просто выйдя на дорогу и встав перед ним. Он просто обязан будет остановиться. Он даже выскочит из машины, чтобы поорать на меня, а я в этот момент его и убью, особенно насладившись тем, как перекосится от страха эта наглая, сытая и довольная рожа.

И тут я решил изменить план, особенно если учесть сложившуюся ситуацию. И ведь никто сразу ничего не поймет! И из-за рева мотора выстрелов могут не услышать. Или не сразу понять, что это выстрелы. Надо только попасть. А если не попаду, тогда первый вариант с выходом на дорогу, но только когда Баранов развернется. Молодец я, здорово придумал.

У меня было всего несколько секунд. Я шагнул к молодому вязу на тротуаре, поднял пистолет двумя руками на уровне глаз, прижав кисть к стволу для устойчивости. Я успел даже обрадоваться, что машина все же начала сбавлять скорость. Но это только лишь результат того, что водитель снял ногу с педали акселератора. И это хорошо, потому что, не имея тяги, машина менее управляемая.

Яочень тщательно прицелился, рука даже не прыгала. Поверх черной мушки увеличивалось в размере переднее правое колесо «девятки». До машины было не более пяти метров, когда я плавно нажал на спусковой крючок. Гулко ударил выстрел, и оружие дернулось в моей руке, обдав меня кислым запахом сгоревшего пороха. Я не успел обрадоваться и подумать, насколько звук

выстрела скрылся за ревом двигателя, как машину на полном ходу бросило вправо. Скрежетнул по асфальту диск с пробитой покрышкой, машина зацепила высокий бордюрный камень и почти взлетела в воздух, переворачиваясь.

Я отшатнулся от неожиданности. Такого эффекта я не ожидал! Черная «девятка» дважды перевернулась в воздухе, пролетев мимо меня в каких-то двух метрах, и ударилась об асфальт. Открылся багажник, выбросив на дорогу какой-то хлам, машина со скрежетом проехала на боку и ударилась капотом об угол киоска. Я почувствовал, как содрогнулась от удара земля под ногами. А еще я обратил внимание, что на улице воцарилась странная тишина. Хотя, может, мне это просто показалось.

Стараясь держаться за деревьями, я побежал к машине. У нее что-то шипело и потрескивало, и я боялся, что сейчас взорвется бензин. Точнее, я боялся, что это случится, когда я окажусь рядом. Или уж пусть взрывается сейчас, или совсем пусть не взрывается, мысленно просил я. Мне нужно было сделать контрольный выстрел, добить этого урода за рулем. Убедиться, что он умер, а иначе и огород городить не стоило.

Я не добежал трех метров, когда раздался страшный хлопок, который сорвал крышку капота и отбросил прямо в мою сторону. Полыхнуло пламя, мгновенно осветив все вокруг страшным желто-красным светом. Я даже присел от испуга. Горел двигатель; наверное, пока еще взорвался только карбюратор. Но уж раз началось, то этим все не ограничится, потому что есть еще бензопровод, а он соединяет двигатель с бензобаком. А сзади нарастал рев нескольких автомобильных моторов.

Я удалялся быстрым шагом, стараясь держать себя в руках и не бежать. По ушам внезапно ударило. И тут же пахнуло страшным жаром, бензиновой вонью. Я понял, что взорвалась машина, но не оглянулся, а только прибавил шагу. Шансов у Баранова не было никаких. Живой или мертвый, но сейчас он находился в салоне горящей как факел машины. И горел вместе с ней. Живой или мертвый?

А если он еще живой? От этой внезапной мысли мне стало страшно до такой степени, что я остановился. Но этот же страх снова погнал меня вперед, подальше от ужасного места. Как будто кто-то другой переставлял мои ноги, шевелил моим телом и уносил меня в сторону от криков людей, от адского огня, от бесовских красных всполохов, плясавших на стенах домов, в стеклах окон и витрин. А если он еще живой, билась в такт шагам мысль в моей голове, а если он еще живой…

Картина избиения тремя парнями пьяницы, доводившая меня раньше до бешенства, вдруг помутнела, стала расплывчатой.

И судьба забитого насмерть человека, и судьба студента, который вмешался, а теперь стал обвиняемым и которого невинно осудят, – все это стало неважным, второстепенным. Я почти физически ощущал, как корчится в машине человеческое тело, как в легкие врывается раскаленный воздух; как загорается на нем одежда, трещат волосы, пузырится и обугливается кожа… Человек не может кричать от ужаса и нестерпимой боли. Последний неистовый всплеск безумия швыряет его в бездну смерти. И он больше не шевелится, а только чернеет. Лопается и сползает с черепа кожа, обнажаются кости рук, нестерпимо воняет горелым мясом…

Боже мой! Боже мой, что я натворил! Мое лицо скорчила такая судорога, какая бывает у людей в минуты отчаяния, безумной истерики, страшного горя. Эта судорога коробит лицо и выбрасывает водопады слез, исторгает бурные рыдания отчаяния. Но слез не было. Что я натворил! Я наказал человека смертью, но какой смертью! Да, подонки, мерзавцы, но такого сотворить я не хотел. Это же настоящие муки ада – все то, что Баранов испытал перед смертью. Но он и достоин ада. И все же мне было страшно…

В эту ночь ночевать домой я так и не пришел. Я бродил по аллеям, скверам, паркам, просто по пустынным улицам. Размышлять я не мог, анализировать тоже. Я просто ходил, садился на лавки, вставал и снова ходил, а в голове слабо трепыхались остатки мыслей, практически остатки сознания. Я хорошо помню, в какой шок тогда поверг меня мой поступок. И только к рассвету в голове прояснилось. И как сквозь рассеявшийся дым, как через осевшую на землю листву деревьев и копоть пожарища проступила одна-единственная мысль. Она была четкой, простой и понятной.

Это было утро искреннего раскаяния, утро прояснения после пережитого горя и страха. А мысль была следующей. Мальчишки из ухарства, дебильного геройства развлекались тем, что били беззащитного человека. И убили его. Они достойны наказания, и я наказал главного из них – того, кто это организовал, кто вдохновил своих дружков на этот поступок, на это развлечение. Я пожалел остальных, решив наказать смертью одного. Я посчитал, что они все поймут, и это будет им предостережением впредь. Но продажный следователь по сговору с родителями преступников сделал преступником свидетеля. Если бы не следователь, то троице преступников сидеть в тюрьме, а студент был бы жив.

Но сидеть будет невинный студент, который оказался способен на благородный и геройский поступок. И тогда вмешался я, потому что следователь оказался таким же подонком.

И поэтому я подверг страшной смерти Баранова, которого хотел просто застрелить. И кто же виноват во всем ужасе, что пережил я, и пережил перед смертью Баранов, и переживет в колонии студент, которому, кстати, следователь сломал жизнь? Кто во всем виноват? Следователь! Вот кто виновник, вот кто спровоцировал все последствия, вот кто усугубил ситуацию до нечеловеческого ужаса, вот кто достоин смерти.

Это не явилось открытием, это было нормальной для меня потребностью, моим моральным правом. Это было моим долгом, именно моим, потому что мне уже терять было нечего. Что меня ждало в будущем? Тягость семейной жизни, черный рок бездетного существования, кошмарные сновидения до самой гробовой доски! Еще что? Да ничего! Бизнес, деньги, карьера – все это меня не интересовало, во всем этом не было никакого смысла. Пока рядом живут такие люди, как эти Вареные, Барановы, как эта дура-врачиха, как этот следователь, – другим людям жить будет тошно, страшно. Нормальным людям, которые хотят счастья, мира, спокойствия; хотят радоваться жизни, детям, солнцу, небу. Обычным нормальным людям будут мешать мерзавцы, негодяи, подонки. Они будут мешать ходить по улицам, работать, рожать. Они будут просто мешать жить! И кто-то должен помочь государству избавиться от них. Потому что государство – это множество должностных лиц, множество чиновников, и все они разные. И ведь есть там, наверху, нормальные, приличные, честные люди. А есть и откровенные негодяи. И честным трудно добраться до самых низов, до истоков проблем. А я как раз тут, внизу, у истоков.

Да, я здесь. Я один, мне никто не поможет, не посоветует. Меня никто не поддержит; скорее, меня постараются остановить, особенно те, кто сам преступает закон. И значит, идти нужно до конца. И я должен остановить этого следователя, потому что он и дальше будет покрывать виновных, потому что и дальше за взятки будет сажать невинных за решетку. Я, конечно, понимаю, что не следователь сажает, а судья. Но судья-то будет опираться на материалы, на доказательства следователя. И где гарантия, что и он не окажется таким же продажным?

Значит, начинать надо снизу, со следователя. И я начал. Путь у меня был один, поскольку я не знал ни его, ни места, где он сидит. Я просто пошел в милицию и стал добиваться, чтобы меня допросили по тому преступлению, потому что я важный свидетель. И меня в конце концов направили к следователю по фамилии Рябченко.

Еще не закончился день, как я вошел в кабинет, где на двери красовалась табличка «Следователь Рябченко Л.П.». К моему

огромному изумлению, следователем оказался не мужчина, а женщина. Черноволосая, крупная женщина в массивных очках на прыщавом лице. Она сразу посмотрела на меня с неудовольствием, с раздражением. Понятно, ведь я ей всю схему ломаю. Может, она вообще прикидывала в уме, что если я начну сильно настаивать на невиновности студента, то она и меня в преступники определит. А вот на это я ей времени не дам. И повода не дам, потому что ни на чем настаивать я не буду.

Я изложил свою версию преступления, свидетелем которого был в ту ночь, а следователь хрипловатым прокуренным голосом стала допытываться о том, с какого расстояния я все видел, в какой момент, был ли я трезв, выпиваю ли вообще и как у меня со зрением. Было понятно, чего она добивается, эта Рябченко. И я с готовностью стал с ней соглашаться, объясняя свой приход только тем, что хотел помочь следствию, и беспокойством, что меня до сих пор еще не вызвали на допрос. Разумеется, мне было объяснено, что до меня просто еще не дошли руки, что следствию и так все ясно, а мой допрос, который планировался в этом месяце, обязательно состоялся бы.

Ну, вот и все! Кажется, я сыграл свою роль великолепно. Теперь я эту мерзавку знаю в лицо, теперь я знаю, где мне ее караулить. Теперь мне оставалось лишь последить за ней немного, выяснить, где она живет, какой дорогой добирается домой, каким транспортом пользуется. А потом я выберу момент и пристрелю ее с великим удовольствием. Потому что ее поступки так же отвратительны, как и ее внешность.

Конечно же, это просто выражение, форма такая. Удовольствия от убийства я не получал и не мог получить. Это вы правильно заострили внимание. Это не удовольствие от того, что ты обрываешь чью-то жизнь. Это удовлетворение, что ты навсегда, навечно обрываешь цепь поступков конкретного человека. Цепь преступных поступков, которые несут большое зло, несчастья ни в чем не повинным людям. Это прекращение негативного процесса. И если вас это интересует, то я до сих пор считаю, что своими убийствами тоже совершал зло. Но это зло необходимое, минимальное по сравнению со злом, которое я прекращаю.

Через три дня я был готов. Конечно, надо было бы больше времени уделить подготовке, но у меня в голове все время свербило, что каждый лишний день увеличивает количество зла, которое эта Рябченко несет людям. А еще… еще какое-то шестое чувство подсказывало мне, что ничего я в жизни больше не успею. И поэтому мне нужно спешить. Наверное, я чувствовал собственную смерть. Конец жизни, как теперь я понимаю.

Нет, конечно же, вы правы. Не голое предчувствие, нет –

много чего было в моих тогдашних ощущениях, в мыслях. Сейчас я, разговаривая с вами, снова все это переживаю заново, потому что все помню до малейших деталей. А ощущения… Во-первых, как я сказал, я стал частенько не ночевать дома. С женой мы почти не разговаривали, хотя я постоянно ощущал на себе ее горькие взгляды. Вряд ли она подозревала, что я нашел другую женщину. Думаю, по мне было видно, что никого у меня нет. Я по неделям ходил в одной и той же рубашке, перестал гладить брюки, костюм мой был мят. А уж бриться! Раза два в неделю – и то хорошо. И на работе я все дела забросил. А потом уже и мобильный телефон отключил.

А еще я помню, что мама все время плакала. Я ведь избегал контактов с ней, потому что тяжко было видеть, как она страдает из-за меня. А вот в тот последний день я шел как на праздник! Хотя, наверное, слишком привычные слова я сейчас нашел. Не на праздник, а на значимое для себя событие. На похороны? Не-ет, на похороны ходят в состоянии подавленности, а у меня было торжественное настроение. Нет, это как идти на торжественное мероприятие, связанное с прощанием, проводами… скажем, коллеги на пенсию, друга за границу… как-то так. Торжественное прощание. Только у меня оно было навсегда.

Утром я принял ванну, надел чистую рубашку, отутюжил брюки, начистил ботинки. И с женой старался разговаривать, хотя и не хотелось. Помню, что вид у нее был испуганный, и она пыталась робко задавать вопросы. А я только отмалчивался и отнекивался. А потом с большим облегчением вышел на улицу. Мне нужно было побыть одному, настроиться. Интуитивно я, наверное, хотел попрощаться с городом, с окружавшими меня людьми, для которых я столько сделал в ущерб себе. А может, не в ущерб. Ведь я ощущал себя уже давно умершим.

Дождался я выхода Рябченко с работы только в восемь часов вечера. С раздражением увидел, как она садится в машину одного своего коллеги. Пришлось мне ловить «частника» и ехать за ней. Хорошо еще, что ехала моя жертва домой, а не в ресторан или на свидание. Хотя с ее-то внешностью куда она могла еще ехать?

Я рискнул и не стал преследовать машину, а назвал адрес. Ну и попросил водителя по возможности доехать быстрее. Какими-то дворами он срезал несколько раз путь, и я остался в темноте наступившего вечера ждать следователя. Она подъехала минут через десять. Точнее, подошла. Видимо, коллега высадил ее на проезжей части, а не стал заезжать во двор. Вот и она. Очень хорошо, что из шести подъездов дома фонари горели только над двумя. Это я приметил еще два дня назад, как и то, что над подъездом, где жила следователь, фонарь не горел. Это меня

устраивало как нельзя лучше. Я стоял за кирпичной вонючей стенкой, которая отделяла вход в подъезд от двери камеры мусоропровода. Пистолет с патроном в патроннике и со снятым предохранителем был в кармане. Мне оставалось только вытащить его и нажать на спусковой крючок.

«Юджин». Так ведь боялся же, что его милиция поймает? Боялся! Значит, понимал, что творит нехорошее дело. И каков вывод?

«Лара». А никакого. Он же объяснил, почему боялся. Он не хотел, чтобы его остановили. Понимал, что общество не оценит, не поймет, осудит. Он себя считал в своем праве.

«Ольга Васильевна». Такие личности бывали во все времена и во всех странах. Вы вспомните хотя бы английского Джека-Потрошителя. Он же не просто убивал, не низменные инстинкты свои тешил, не наслаждался убийством как таковым. Он общество чистил от непотребности, потому что убивал исключительно проституток. Я не склонна осуждать этого Георгия, потому что он не просто человек, он не подпадает под категории, установленные законом или медициной. Он не преступник и не психически больной. Он – редкое, но закономерное явление в обществе, как уродство, проявившееся у детей, если родитель подвергся, к примеру, радиоактивному облучению. А у нас все общество подвергается скверному влиянию таких личностей, которых он вздумал истреблять. Он – наша больная совесть, он наше невысказанное, не отстоявшее на баррикадах. В нездоровом обществе нездоровые дети!

«Полковник». Ну, давайте жалеть его и ему подобных. Или вы полагаете, что нам не следует арестовывать и судить таких преступников, которые убивают за идею, из благих намерений? Извините, но тогда у нас будут одни законы для одних, а другие – для других. А он один для всех. К счастью, времена революционеров-«бомбистов» давно прошли. А он к тому же не революционер.

30 июня 2010 г.

23:59

Помните, вы спросили, как я мог выстрелить в незнакомого человека? Стоять, ждать, потом достать пистолет и выстрелить. А они все для меня были хорошо знакомые. Я настолько ненавидел каждого, я столько думал о каждом, что мог за них думать, за них выражать мысли, предсказывать их поступки. Это же понятно. Каждого я видел всего пару раз, но и этих двух раз мне хватало…

Да, я ждал в темноте у подъезда следователя не как незнакомую женщину. Я ждал ее какдавно знакомого врага, от которого я столько выстрадал и который отравил всю мою жизнь и жизнь моих близких. А ведь я не один такой, поймите! Сколько еще существует жертв в нашем городе, их жертв… А сколько их еще будет? Да, меня просто трясло от возбуждения, я думать ни о чем не мог, кроме этого.

И когда она подошла, когда ее от подъезда и от меня отделяла всего пара шагов, пистолет был уже у меня в руке и готов к стрельбе. Но тут случилось непредвиденное. Наверное, этого можно было избежать, но я не профессиональный киллер. Я просто человек, который очень сильно ненавидел.

Она подошла, и я сделал шаг из своего укрытия. Она уловила движение в темноте, а может, просто увидела мою темную фигуру. Ведь часть окон первого этажа была освещена. Она так резко остановилась, что я понял: чувствует вину, боится, понимает, что ей рано или поздно могут отомстить. Так получи, гадина!

В темноте я стрелял впервые, поэтому эффект меня не столько удивил, сколько показался, как бы это выразиться, мистическим, что ли. Внутренне я чего-то подобного ждал, но тут, конечно, просто законы физики: оружие при стрельбе выдает в темноте вспышку. И нечего удивляться. Первые два выстрела осветили пространство вокруг нас. При каждой вспышке я видел, как ее тело реагирует на попадание пуль в область груди. А третьего выстрела мне сделать не удалось.

Какой-то мужик очень торопился и поэтому дверь из подъезда раскрылась рывком и очень неожиданно для меня. Он, наверное, толкнул ее в тот момент, когда я первый раз спустил курок и не сразу все понял. А тут в свете лампочки, освещавшей подъезд внутри, он видит еще падающее женское тело. Наверное, он ее хорошо знал; знал, что она работает следователем. А может, он и сам работал в милиции. Я так решил, потому что он не испугался, не метнулся снова в подъезд или не убежал по темной

улице. А может, я сам его спровоцировал тем, что опустил руку с пистолетом, а потом вообще выронил его на землю.

Такое у меня было состояние. А стрелять в этого мужчину у меня и в мыслях не было. По крайней мере в самом начале, а потом… Потом у меня, конечно, была обида, но внутренне я давно смирился с тем, что скоро для меня все закончится.

Какая обида? Нет, не совсем потому, что он помешал мне скрыться, что кинулся на ее защиту. Не потому, что сбил меня с ног и вообще вел со мной себя грубо. Наверное, он был в своем праве; он же не знал, кто я. А может, как раз и догадывался. Но дело тут в другом. Начиная с этого момента я осознал, что люди, за которых я страдал, за которых боролся, предали меня. Ведь я не мститель какой-то! Я уничтожал тех, кто перешел все границы в человеконенавистничестве, кто любил только себя самого, – уродов, зверей, нечисть. Я ведь город свой чистил от мерзости, от нечистот. А он…

Я лежална земле избитый, придавленный его коленом. Кажется, этот мужчина звонил куда-то по мобильнику, кто-то кричал неподалеку или из окон. А я видел только крупные ноги этой следовательши в темных колготках, как они коротко, конвульсивно подрагивают возле моего лица, как она хрипит и как с бульканьем из ее рта хлещет кровь. Но думал я тогда не о ее страданиях и ее агонии. Убей я ее раньше, и парень-студент не сидел бы сейчас в камере. А сидели бы в ней сейчас три отморозка, сынки богатеньких родителей. А убей я пораньше этого Баранова, то был бы жив и тот мужик, которого забили насмерть в парке. Но я же раньше не знал, поэтому никого из них спасти уже не мог. А спас я тех, кто мог пойти за ними, кого еще пока не коснулась несправедливость, зло.

Показания? Да… я начал их сразу давать… кажется. Понимаете, я был так обижен предательством людей, непониманием, негативным отношением их к себе, что отвечал, наверное, не очень связанно. Да, я не скрывал, что готовился и умышленно убил следователя. И объяснил почему. Для меня все это было большим стрессом, но теперь я припоминаю. Я даже охотно рассказывал, за что я ее убил. Из-за этих подонков, которые вместе со своими родителями подставили невиновного паренька.

И тут они ухватились за это – и сразу догадались, что это я убил Баранова. Или они уже знали наверняка? Гильза? Да, гильза там ночью на дороге, конечно, осталась, потому что я и не подумал, что ее надо подобрать. Ну и, понятно, эксперты определили, что колесо прострелено. Я и не упирался.

А потом допросы на какое-то время прекратились. Я подолгу

лежал в камере на жестких нарах и ни с кем не разговаривал. Со мной там сидели уголовники, но они, по-моему, меня побаивались. Вообще-то, меня все боялись. И следователь у меня был здоровый молодой мужчина, и на допросы меня привозили в наручниках. И во время допроса за спиной стояли конвоиры. Понимаете, как это было обидно? Как будто я им враг, как будто я всех вокруг готов убить! Это страшно, когда тебя не понимают.

И я взахлеб стал говорить, когда допросы возобновились. Я говорил о подлости, которую совершили в отношении невиновного парня, я говорил об убитом мною Баранове, о том, что таким, как он, нельзя жить на свете. Что как раз они опасны для общества, а не я. Но со мной разговаривали так сухо и так официально, что я быстро осознал все. Никто меня тут не понимает, меня осуждают, понимаете, осуждают! Это было так чудовищно, так нелепо… Я не рассчитывал, что ко мне побегут с цветами или бросятся на шею. Ведь закон есть закон, а я для него все равно преступник. Но ведь эти оперативники, этот следователь, эти охранники из следственного изолятора, ведь они-то должны понять, почему я это совершил. Но никто этого не понимал и не старался понять. Хоть взглядом, хоть ободряющим жестом!

Мне стало так горько и одиноко, что захотелось завыть. Горечь и обида душили меня днем и ночью. Я стал постепенно замыкаться, отвечать односложно. Я перестал ждать признания или хотя бы сочувствия. Я вообще перестал ждать чего-либо. Я просто очень устал. Потом меня стали спрашивать про убийство капитана милиции. К тому времени я уже потерял интерес ко всему и даже не удивился, что в этом убийстве подозревают меня. Но потом я вспомнил Ирину и воспрянул духом. Я хотел всем рассказать, всех убедить, что этот капитан был негодяем из негодяев, но не успел. Мой следователь, оказывается, сам до всего докопался и без моих подсказок.

В один прекрасный день они привели ко мне Ирину. Я обрадовался, но когда увидел ее глаза, то сник. В этих глазах был не только страх, она не просто боялась меня – она смотрела на меня как на чудовище. Это было до такой степени жутко сознавать, что у меня на глазах выступили слезы. Как она могла! После того что я для нее сделал…

Ирину допросили; из нее вытянули все, что между нами было, включая и ту близость. И я слышал, как она отвечала, как она объяснила, что пожалела меня, что у меня были глаза очень несчастного человека. Я ловил ее взгляд, но Ирина не хотела встречаться со мной взглядом. Она так и ушла, не посмотрев на меня. И после этого допроса мне стало плохо. У меня помутилось

в глазах, все куда-то поехало. Позже я очнулся и увидел рядом с собой женщину в белом халате.

Потом я несколько дней лежал в санитарном блоке СИЗО и меня не трогали. Затем мне сказали, что у меня просто был нервный срыв и что мое сердце вполне здорово и не вызывает опасений. И меня снова перевели в общую камеру. Уголовники попытались оказать свое покровительство, когда узнали, что на мне, помимо следователя, висит еще и «гаишник», но потом отстали. Я вообще перестал реагировать на окружающий мир. Мне не хотелось говорить, не хотелось никого видеть. Я лежал как бревно и думал только о жене и маме. Единственные близкие мне люди оставались там, за стенами. Я их ждал, я их любил. Все, что я совершил, я совершил в том числе и для них. Но они никак не приходили. А я не спрашивал о них.

Психиатрическая экспертиза? Да, конечно. Меня возили в какую-то клинику. И приборы какие-то подключали, и беседовали со мной там какие-то люди. Наверное, это и была экспертиза. Разумеется, меня признали вменяемым. Происходило это тогда, когда меня уже начала одолевать апатия. На вопросы я отвечал спокойно, немного равнодушно, потому что уже порядком устал от этих вопросов. И рассказывал об убийствах так же спокойно, почти равнодушно. По привычке я старательно обосновывал их. Это мне, несмотря на мое состояние, было еще сделать легко, потому что к тому времени я уже столько всего передумал, что фразы произносились почти автоматически.

Потом мне предъявили доказательства того, что я убил врача из роддома. Следователь был очень горд собой, рассказывая, как он на меня вышел, как узнал, что моя жена потеряла во время родов ребенка и что в те сутки дежурила именно эта врачиха. А мне было уже все равно, мне было уже наплевать на всех них. Общество меня предало, отвернулось от меня. Только глубоко-глубоко в груди еще теплилась надежда, что все те, кто занимался мной сейчас, кто узнал мою историю, со временем поймут, что мной двигало; осознают, что я не мог иначе. Осознают и постараются мне помочь. И Ирина в том числе. И тот мужик, который держал меня на земле после убийства следователя. Ведь это так несложно – понять меня! Ведь не могут же все вокруг быть негодяями, мерзавцами, подонками. Только они могут меня бояться, ненавидеть, осуждать. Ведь все честные, порядочные люди должны меня не только понять, но и отнестись ко мне с сожалением. Даже Оля, даже мама. А они ведь так и не навестили меня в изоляторе за эти месяцы. А я так и не попросил передать им весточку, задавленный своими обидами.

А потом меня пожалели – и все-таки сказали. Мама умерла

месяц назад от сердечного приступа. Ее пытались спасти, сделали операцию, но говорят, она не хотела жить. Значит, целый месяц я ее ждал, а она была уже мертва. Она ушла, не поняв сына, не пожалев его, стыдясь его. Это было горько, это был конец… Вы когда-нибудь переживали смерть матери? Единственного оставшегося на свете родного человека. Вы когда-нибудь осознавали, что она не просто умерла, а что с ее смертью у вас отрезали большую часть вашего прошлого, самую дорогую, теплую часть вашей жизни? Ведь с матерью связано детство, юность. Мать – это ваша беззаботная жизнь, полная нового, приятного, доброго. Была мать, и вы всегда могли прийти к ней, поплакаться, пожаловаться, поделиться, попросить помощи. И вы всегда были уверены, что получите то, зачем пришли. Но она умерла, а значит, на всем свете больше не осталось человека, близкого вам во всех отношениях. Теперь все оказалось отсечено безжалостно и, самое главное, навсегда. Безвозвратно. И только в этот миг понимаешь, что жизнь твоя кончилась, а остается только доживание среди абсолютно чужих людей. Никто из них не будет столь бескорыстным и столь любящим тебя, как твоя мать!

После этого страшного известия я замкнулся окончательно. Даже не замкнулся, а ушел в себя. А ведь там, во мне, уже ничего не оставалось, только одна пустота. И я ушел в свою пустоту. Поэтому я и не рассказал следователю об уголовном авторитете по кличке Вареный, о том, что прошел через могилу, что после этого я и начал убивать всякую погань. Мне уже было все равно. И я слушал – и не слышал того, что мне говорил следователь. Я молча смотрел перед собой, машинально кивал, когда он о чем-то спрашивал; так же машинально и не читая что-то подписывал.

Потом был суд. Меня поднимали, что-то спрашивали, я что-то отвечал. Видимо, судью это удовлетворяло, и мне разрешали садиться. А потом я посмотрел в зал, потому что судья назвал имя, отчество и фамилию моей жены. Я увидел Олю. Она вышла к кафедре и стала отвечать на вопросы судьи. И ни разу не посмотрела на меня. А я с надеждой и нетерпением ждал, когда закончится этот иезуитский допрос Оли, когда ей разрешат сесть. И тогда она посмотрит на меня. И я взглядом ей все объясню, и она меня поймет и простит.

Но она ни разу не посмотрела в мою сторону. Сидела, съежившись, опустив лицо в пол, как будто боялась смотреть по сторонам, смотреть в мою сторону. А через какое-то время она спросила разрешения уйти, и ей разрешили. Оля вышла из зала судебного заседания быстрым шагом, спотыкаясь, как будто бежала от чего-то страшного или мерзкого. И я понял, что она бежит от меня. Я был ей страшен, противен! Она не хотела меня

видеть, находиться со мной в одном помещении; не хотела слушать, узнавать и попытаться понять меня. Она не хотела! Последний близкий человек ушел из моей жизни. И навсегда, это я понял точно.

Кажется, по моему лицу текли слезы. Судья или прокурор меня о чем-то спрашивали, а я не слышал. Мне приказали встать. Я поднялся, но продолжал смотреть на дверь, которая закрылась за Олей. Я все надеялся, что она убежала, потому что ей стало плохо, но она вот-вот вернется. Вернется ко мне, чтобы до конца пережить все со мной, остаться со мной. Как это было больно – понять, что она не вернется!

Потом был шум в зале. Я увидел Ирину, еще одну предательницу. Ее расспрашивали обо мне, из нее вытянули, что она переспала со мной в тот день. Особенно наседал прокурор. И как только девушке напомнили об этом, как только она вспомнила это, ее вырвало. Прямо за кафедрой. Ирину увели и объявили перерыв. Судебное заседание возобновили уже в другой день, но дальше я помню все только отрывками.

Снова воспринимать мир как что-то живое я стал уже здесь, и только тогда, когда приходил священник отец Василий. Я не помнил, чтобы у меня спрашивали, желаю ли я с ним побеседовать. Сначала я думал, что это обязательно; потом понял, что просто не помню, когда меня об этом спрашивали. Наверное, я послушно согласился, и меня стали водить. И я сидел на этих встречах и слушал. Я плохо понимал, что он говорит, но чувствовал, что это что-то теплое, успокаивающее, живое. И я стал ждать прихода отца Василия с нетерпением. А потом я почему-то понял, что вы не священник, а журналист. Вы говорили страшные вещи, вы будили во мне страшные горькие воспоминания…

Странно, но именно когда вы расспрашивали меня о моей жизни до смерти, меня это почему-то к жизни и возвращало. Почему, а? Да… наверное, вы правы. Потому что у меня когда-то была жизнь…

Мое расставание с Георгием Павловым было прозаичным и казенным. Я даже не успел продумать прощальные слова, до последнего надеясь на экспромт, на то, что нужные слова найдутся сами. Трудно, согласитесь, найти слова утешения, просто теплые слова убийце нескольких человек, который не раскаивается в своих преступлениях. И понятно, что мое отношение к Павлову было очень сложное, неоднозначное. О том, что он закончил свой рассказ, я догадался сам. А догадался я потому, что Павлов опять впал в свое обычное, почти коматозное состояние, в каком я его застал в день своего первого приезда в

колонию. Он сначала схватился за голову, что-то еще бормоча и постанывая. Потом затих в этой же позе и долго не выпрямлялся. Я позвал его, но Павлов не реагировал.

Зато отреагировал контролер, который стоял в промежутке между нашими решетками. Он быстро нажал кнопку вызова и подошел к нам.

– Вы закончили? – строго спросил он меня таким тоном, как будто не сомневался в положительном ответе.

Мне оставалось только кивнуть. Я понимал, что начни я настаивать, и мне тут же укажут на состояние осужденного. И коротко объяснят, что на сегодня хватит. А «завтра» у меня не было. Так что я кивнул, и двое сержантов выпустили меня из моей клетки. А когда я оказался в коридоре и оглянулся, Павлова уже уводили в сторону его камеры. Так что прощания не было. Никакого. Если честно, то мне так было даже легче. Потому что, не впади Павлов в депрессию, я не знаю, какими словами я бы с ним прощался. Просто не знаю, как бы мне следовало вести себя с ним.

Прежде чем отправиться на вокзал, я снова захотел увидеться с отцом Василием. Старого священника я, к сожалению, обнаружил в пульмонологии местной клинической больницы. И пока я не написал и не переправил с санитаркой ему записку, и пока он не настоял там на своем, меня в палату не пускали. Но священник есть священник, и вот я сижу около его кровати со сложным механизмом, позволяющим принимать полусидячее положение.

Температуру старику сбили. Он встретил меня полусидя, обложенный подушками, осунувшийся, еще больше постаревший, но все равно благообразный. Я даже испугался, что это у него перед смертью такое выражение лица. Однако и врач, и сам отец Василий успокоили меня, что самое страшное позади, что организм еще крепкий, что антибиотики и витамины делают свое дело. Теперь – только покой и отдых. И покой в глазах священника был.

С таким же спокойным удовлетворением священник объяснил, что нашелся ему молодой помощник из местного монастыря. Что он-то теперь пока и замещает отца Василия каждую неделю на спецучастке для смертников.

– А бог даст – выздоровею, так вдвоем сподручнее, – сказал мне старый священник. – Все одно, пора подумать о преемнике. Неровен час приключится иная хворь или беда какая. Нельзя их там теперь бросать одних, никак нельзя. А когда я отсюда выйду, один Господь знает.

– Да что вы, отец Василий, – попытался я протестовать, – врач

сказал, что оснований для беспокойства нет.

– Так это по его части нет беспокойств, – со странным смешком ответил священник, – а по моей части есть. По нижней части. Мне ведь, Борюша, аж трое суток кололи уколы через каждые четыре часа. А теперь три раза в день. Об меня у них иголки уже гнутся, так все задубело. Так что еще долго ходить мне скривясь.

Мы немного посмеялись на эту тему. Потом я все же задал отцу Василию тот вопрос, ответ на который никак не мог получить со дня первого знакомства.

– И все-таки, отец Василий, почему вы мне посоветовали поговорить с этим Павловым? Чем он вас заинтересовал?

– А они все меня интересуют. Все они любви человеческой требуют, сострадания ближнего.

– По-моему, вы мне просто заговариваете зубы. Не хотите отвечать?

– Ох и устал я от тебя, – улыбнулся священник. – До чего же ты человек настырный-то… Ну как я тебе объясню то, что чувствую, что мне подсказывает вера. Это ты у нас журналист, ты привык все описывать, все объяснять, всему названия придумывать. Не знаю я, как ответить тебе на твой вопрос. У каждого осужденного на этом спецучастке своя беда. Те, кто сотворил зло, потому что его требовала натура, – с теми все понятно, те себя не помнили, не знали. Сатана теми управлял. Тем свет божий нужно показать, в их же душе этот свет отыскать. С теми ты мне не помощник. А вот такие, как этот Павлов, – те зло сотворили по ошибке, по убеждению.

– Позвольте, отец Василий, но вы, кажется, ударились в софистику. По ошибке – это одно, а по убеждению – это уже сознательное действие. Другое дело, что убеждения ошибочные, но до этого преступники сами должны дойти, изменить убеждения.

– Вот ты сам и ответил себе, – усмехнулся священник. – Этих надо за ручку брать и вести к чистому и светлому раскаянию. Террорист, который дом взорвал, считал, что это богу так угодно. Есть другие, кто тоже видел смысл в своих преступлениях. А вот с Павловым мне было непонятно. Понимаешь, Борюша, он меня слушал – а не слышал. Что-то в нем не просыпалось, не открывалась дверка. Не в душе, а именно в сознании. Вот я и решил, что ты, как человек из прежней его жизни, как приезжий с воли, станешь тем ключиком, который эту дверку и откроет. А уж там и сам скумекаю, как дальше вести разговор. Он ведь сам дал согласие на беседу со священником, его насилкой-то никто ко мне не гнал.

– Да, вы правы, – кивнул я. – Он в самом деле согласился на встречи с вами по причине дисциплинированности. Его спросили, он согласился. И что не слышал он ваших речей, тоже верно. И с моими беседами вы все точно поняли. Достучался я до него. Знаете, а ведь Павлов одних людей убивал, считая, что совершает для других людей благое дело. Знаете, какую он себе философию придумал?..

– Нет, Борюша, ты мне этого не рассказывай. Не в этом дело. Ты мне главное скажи.

– Главное? – не понял я. – А что же главное, как не мотив преступления, не то, что им двигало? Хотя, может, вы и правы. Двигало им сознание, а оно ошибалось. А почему? Потому что в душе у него что-то треснуло, порвалось. Главное, я думаю, – это то, что Павлов пережил собственную смерть. Только она не физической была, а психологической. Пожалуй, он две смерти пережил.

– Вот видишь, Борюша, ты и смог отделить зерна от плевел. Не ум ему лечить надо, этого я не умею. Ему душу лечить надо. Его к жизни надо возвращать, дать почувствовать, что смысл жизни еще кое в чем, кроме услаждения тела и мирских утех. Как думаешь, оживет Павлов душой-то?

– Не знаю, – задумчиво ответил я. – Попробовать, конечно, нужно, иначе не поймешь – стоит ли продолжать.

– А мне иначе и нельзя, Борюша, – тихо улыбнулся священник. – Я должен, потому что я верю. А ты сомневаешься… Вот когда перестанешь сомневаться и начнешь верить, тогда и у тебя все будет получаться. Значит, говоришь, через смерти он прошел? Ну, ничего, коли душа еще жива, то мы за него поборемся. Если душа есть, то она обязательно, рано или поздно, потянется к свету. А свет – это и есть раскаяние.

– Ему оттуда все равно не выйти, – напомнил я. – Ни-ког-да!

– Сколько отмерено ему, столько и проживет, – похлопал священник меня по руке. – Но проживет в покаянии. Ты уж мне поверь…